

Михаил Алексеев

**Мой Сталинград**

«ИТРК»

## **Алексеев М.**

Мой Сталинград / М. Алексеев — «ИТРК»,

«Когда я читал эту книгу, понимая, что это не роман, не беллетристика, а почти документальный текст, я все время думал: а может быть, Михаил Алексеев среди тысяч увиденных им в Сталинграде людей встретил и моего отца. Может, где-нибудь на полустанке, на перекрестках фронтовых дорог вдруг они на секунду встретились глазами. Может быть, события, описанные Алексеевым, теми же глазами видел и мой отец? Я читал „Мой Сталинград“ глазами сына, потерявшего в Сталинграде отца, с надеждой, что на страницах книги я с ним хоть на миг, но столкнусь. Я не ведаю, где его могила. И поэтому, читая книгу, я загадочным образом отождествлял Михаила Алексеева со своим отцом. Отношусь к нему самому и к его книге по-сыновьи. Как к „литературному отцу“, хотя мы и пишем по-разному», – так говорит Александр Проханов о книге, которая стала одним из самых значительных явлений в литературе конца XX века. В новом издании «Мой Сталинград» дополнен впервые публикуемыми письмами Михаила Алексеева 1942-1943 годов из осажденного Сталинграда.

© Алексеев М.

© ИТРК

## Содержание

Сталинград вернулся!	6
От автора	26
Книга первая	27
Часть первая	27
1	27
2	30
3	31
4	33
Конец ознакомительного фрагмента.	58

## Михаил Алексеев Мой Сталинград



*Политрук минометной роты 29-й стрелковой дивизии Михаил Алексеев. Август 1942 г. Сталинград. Фотография на партбилет*

## Сталинград вернулся! Вместо предисловия

Он вернулся ко мне через 60 лет, без самого малого.

Александр Проханов в своем выступлении на презентации «Моего Сталинграда» сказал:

«У меня возникло ощущение, что эта книга является длинным, обстоятельным письмом фронтовика о том, что с ним происходило на фронте. Письмо это Михаил Алексеев писал 50 с лишним лет. Начинать писать еще тогда, в сталинградских степях, своим домашним, в саратовскую глубинку, но потом сам вернулся домой и сам прочитал свое давнишнее письмо. Он одновременно и отправитель военных треугольников зимы 1942 – 43 годов и их отправитель спустя полвека».

Ощущение А. Проханова оказалось поразительно точным по главной сути. Замечу лишь, что давнишнее то письмо составилось из множества писем, и писались они не 50 лет, а двести дней и двести же ночей в окопах Сталинграда, день за днем на протяжении всего побоища. А посылались те треугольники не моим домашним в саратовскую глубинку, Саша, а в малюсенький город Ирбит, затерянный где-то в уральских горах, куда во время эвакуации перебралась из города Сумы одна украинская семья, а с нею, сообщал я в «Моем Сталинграде», прелестнейшее существо по имени Оля Кондрашенко. Жили мы в одном доме в уютном и ласковом городке на берегу поэтичнейшей речки Псёл. И, конечно же, не могли не подружиться. И не знали, что дружба наша будет очень долгой. И виною тому Оля, Ольга Николаевна – она не давала (да и сейчас не дает) погаснуть этому светильнику нашей прекрасной дружбы, так и не перешагнувшей порога, за которым было бы уже другое...

Вот ей-то, Оле Кондрашенко, я и посылал все свои сталинградские письма. И она сохранила их все до единого! И лишь теперь, спустя не пять, а шесть десятков без малого лет, стала высылать их мне. Сталинград из кроваво-огненной своей Купели вновь вернулся ко мне в моих же собственных письмах. Часть из них в канун нынешнего 2002 года использовала газета «Российский писатель» в довольно большом материале, названном достаточно точно: «Возвращение огня». Основная масса моих писем, к сожалению, получена мною уже после того, когда работа над романом подходила к концу. Но мог ли я упрекнуть свою верную подружку за задержку с присылкой писем, когда она, советская патриотка, оказалась вдруг «заграницей», живет теперь одна-одиошенка в Ужгороде, куда привезли ее с Урала родители, ныне уже ушедшие из жизни?

После войны переписка моя с Олей возобновилась и продолжается по сей день. Ни в одном из множества писем ко мне нет ни малейшего упрека в том, что в основном по моей вине наша светлая дружба не завершилась тем, на что вроде бы естественно рассчитывали. Судьба распорядилась по-своему...

Переписка с Ольгой Кондрашенко у меня продолжалась и после Сталинградской эпопеи, о чем говорит и это стихотворение, написанное мною и посланное девушке 29 августа 1944 года уже из Трансильвании. Но Сталинград занимал особое положение и в характере нашей переписки, начавшейся, для меня, во всяком случае, с Акмолинска, куда я попал во вновь формирующуюся 29-ю стрелковую дивизию, не зная, не ведая того, что в ее составе мне суждено будет пройти от начала и до конца все круги ада Сталинградского побоища в должности политрука минометной роты и заместителя командира артиллерийской батареи.

14 мая 1942 года я писал своей подружке:

«Здравствуй, Оля!

Сообщаю тебе, что из Акмолинска я выехал 29.3.42 года. Сейчас нахожусь близко от фронта снова. Скоро вступлю в бой с немецкими

захватчиками. Прошу тебя не терять со мною связи. Если все кончится хорошо, наверняка увидимся. Пиши мне чаще письма. Если потеряешь со мною связь, прошу связаться с моим братом, адрес которого я тебе давал».

В бой мне пришлось вновь вступить не так уж скоро и не там, где предполагалось.

«До поры до времени, – говорится в первых же строчках „Моего Сталинграда“, – никто из нас, оказавшихся августовским летом сорок второго между Доном и Волгой, как между тяжким огненным молотом и наковальней, – никто не знал, не ведал (*повторю и здесь два этих слова!* – М. А.), что Абганерово<sup>1</sup> будет включено в наши души и навсегда, до последнего часа останется там у тех немногих, кому неким чудом удалось выжить.

Двумя неделями раньше сформированная в казахстанских степях 29-я стрелковая дивизия, новенькая, с иголки, свеженькая, укомплектованная по штатному расписанию, предназначенная было для обороны Москвы на дальних подступах к ней и временно расквартированная под станцией Волово Тульской области, неожиданно, в одну июльскую ночь и в одно утро была погружена в эшелоны и с бешеной скоростью устремилась куда-то на юго-восток».

Впрочем, мы-то догадывались – куда именно.

И вот первое мое письмо оттуда:

«9/VIII–42 Степь.

Дорогая Оля!

Сейчас в самый тяжелый и опасный момент я получил от тебя письмо. Можешь ли ты представить все волнения души моей в этот час?! Нет, ты не можешь представить. Это может представить человек, находящийся со мною под непрерывным обстрелом с воздуха и земли.

Положение мое, моя дорогая, таково, что вряд ли мое письмо дойдет до тебя, но если оно все же и дойдет, то я боюсь, как бы оно не было последним. Но не падай духом, подружка моя, я еще долго намерен грызться с проклятым немцем, буду бить его до последней возможности, Сейчас, пока я пишу, все гудит вокруг, степь стонет, вздрагивает.

Плачется родная земля!

Хочется крикнуть на всю Русь: товарищ, друг, дорогой человек! Если ты способен держать в руках оружие, если ты можешь крепко взять в руки топор, лопату, вилы, оглоблю, если у тебя, русская женщина, есть в руках мотыга, кочерга, навались на немца! Он кровожаден. Он пришел пожрать нас. Немец не хочет работать, он хочет пить чужую кровь.

Бей немца, чем можешь и где только можешь! Бей – ты спасешь родину, ты не будешь презрен поколением за то, что отдал на поругание вислозадому немцу свою могучую державу.

Если у тебя, советский человек, нет под руками ничего, чем бы мог ты гвоздить немца, то вырви собственное сердце и его, раскаленное лютой ненавистью, брось в врага...

Оля, дорогая моя девочка! Я очень люблю жизнь и очень хочу жить, и все-таки я отдам без страха эту жизнь, уже решил ее отдать... Я хочу жизнь (*так сказано в письме.* – М. А.), именно поэтому я и отдам ее.

---

<sup>1</sup> Так называется станция, где в ту пору шло ожесточенное сражение. (*Здесь и далее примеч. автора.*)

Потому что не всякой жизнью я хочу жить. Я привык жить в стране, где человек является хозяином своей судьбы.

Но я не хочу жизнь с вечно согбенной спиной, по которой бесцеремонно будет бить немецкий кровожадный ефрейтор.

Нет, такая жизнь мне не нужна. Я от нее отказываюсь. Она чужда мне.

Лучше тысячу смертей, чем такая жизнь! Немца надо убить и спасти Россию!

Оля, возьми и прочти это письмо многим русским рабочим. Пусть они услышат голос юноши, отдавшего себя в защиту страны, в которой впервые в многовековой истории восторжествовала мудрость.

Будь счастлива и здорова, Оля! Не поминай плохим словом и надейся получить от меня не только письмо, но и нежный поцелуй...

Горячий, сердечный привет папе, маме и бабушке. Всем я им также желаю большого счастья. Пиши.

*Ваш Михаил».*

Ну а теперь мне хотелось бы предупредить нынешнего читателя, предупредить о том, чтобы он помнил, кем, где и когда писалось это письмо и другие письма, последующие одно за другим за этим.

Писал я, мне было 23 года, я был политруком минометной роты, а потом и ее командиром. В роте моей было 110 бойцов. Строчки эти набрасывались на бумагу в начале августа 1942 года в самый разгар боев в междуречье Дона и Волги, под Абганерово, уже не на дальних, а ближних подступах к Сталинграду. После войны я дважды был в Германии, Восточной и Западной. И знаете, встречали меня более дружески немцы, вернувшиеся из русского плена. В один голос они говорили мне одно и то же: русские кормили нас, принесшим им столько бед, кормили лучше, чем себя. Сами-то они жили впроголодь.

Однако вернемся к другим письмам. Они тоже, сохраненные бережно удивительной женщиной, молчали без малого шесть десятков лет, а теперь вдруг голосом давно минувшей войны заговорили вновь, слушаем же.

«14 сентября 1942 г.

Оля, дорогая моя!

Хотелось бы побольше написать тебе, но борьба далеко еще не кончена, и я считаю преждевременным подводить какие бы то ни было итоги.

Скажу только, что я сам едва ли верю в то, что это моя рука пишет тебе письмо. Трудно, пожалуй, совершенно невозможно представить себе всей тяжести нашей: борьбы. Уже сотни раз смерть пыталась захватить меня в свои холодные объятия, но тщетно: я продолжаю жить и бороться. Трудно погасить во мне искру мщения. В качестве отчета приведу тебе цифры. Мое подразделение<sup>2</sup> за время боевой деятельности уничтожило не менее 400 немецких солдат и офицеров, много техники. Интересует меня, Оля, каким ты представляешь меня сейчас?.. Все тем ли румянощеким юношей, или каким либо другим ?

Едва ли ты поверишь, моя дорогая, что несколько светлых волос серебрят мои виски, что в голубых и когда-то открытых глазах, теперь неугасимо поблескивают злые огоньки, как у затравленного тигренка. Много горя принес мне немец. Много пережил я вместе с моей годиною. Чувства обострились.

---

<sup>2</sup> Все было засекречено настолько, что роту я называю подразделением.



Нет, в груди моей больше нет сердца – раскаленный кусок металла бьется в груди моей.

Как и всякий фронтовик, я, пожалуй, потерял дар речи: я привык выражать свои чувства штыком, гранатой, бомбой...

О всем в свое время расскажу я тебе, Оля. А сейчас прости мне, я кончаю. Написал твоему папе письмо, не знаю, получил ли он его.

Очень хотелось бы покушать яблок. Где наша Украина?

До свиданья.

*С приветом – М. Алексеев».*

Приведенное выше письмо, как и некоторые другие, грешат малость литературной патетикой, а написано оно тем не менее после тяжелейших боев под Абганерово, где моя рота понесла первые потери: погиб заместитель командира лейтенант Сергей Гайдук и два бойца – Давискиба и Кучер. А при выходе из окружения в ночь с 29-го на 30-е августа потери эти оказались просто ужасающими: наша 29-я стрелковая дивизия вывела к Волге, к окраинам Сталинграда менее трети своего состава. А в моей минометной роте (под Абганерово я был уже в ней и командиром, и политруком одновременно) из 110 солдат и офицеров уцелело что-то около сорока человек. Отсюда и вырвались из-под моего карандаша эти «холодные объятья смерти». Удивляюсь только, как им, этим «объятьям», удалось вырваться из чрезвычайно бдительных и цепких рук военной цензуры! Однако ж вырвались и оказались в Уральских горах в добрых, надежных руках девушки по имени Оля.

Ровно через пять дней отправилось к ней в Ирбит следующее письмо почему-то без обязательного, казалось бы, эпитета «дорогая».

«Оля!

Посылаю тебе фотокарточку. Может быть, она тебе не понравится, – это, может быть, потому что в ней, в этой фотокарточке, скажем прямо, нет ничего достопримечательного.

Для меня же она дороже любой, самой замечательной, фотокарточки, потому что я фотографировался, вернее, меня фотографировали, после жестокого боя и перед боем; потому что она, эта маленькая карточка, родилась в грохоте снарядов, в пыли, у разрушенного домика<sup>3</sup>, в душной степи; потому что перед этим меня и многих моих бойцов представили к награде; потому что она дышит гарью великих сражений за нашу дорогую Родину; меня фотографировали, потому что в разгар сражений надо было мне вручить партийный билет, который бы лежал у сердца и все больше разжигал ненависть к врагу и постоянно уверовал в нашу победу. Пусть гимнастерка выцвела от солнца, прогорела горячим потом, пусть нет прически – пусть! все это будет по возвращении с фронта.

Оля, ты не обижайся на меня. Другой фотокарточки у меня нет и быть не может сейчас, потому что в окопах, в степи нет фотографий, а в грохоте артиллерийской канонады фотограф нервничает.

До свиданья.

Жду твоего драгоценного письма.

Привет папе, маме и бабушке.

*Ваш Мих. Алексеев.*

*12/IX-42 г.»*

---

<sup>3</sup> Имеется в виду калмыцкий хуторок Зеты.

А за день до этого, 11 сентября 1942 года, в дивизионной газете «Советский богатырь» в рубрике «Наши герои» был опубликован небольшой очерк обо мне. Газетную вырезку с этим материалом я выслал Ольге. Она переписала его в тетрадь своим изумительным по красоте почерком, сохранившимся у нее и по сей день! Первая страница тетради трогательно разрисована полевыми цветами.

Теперь эта тетрадь с очерком, другими письмами, а также фотоснимками Ольги (ее фото относится к 41-му году) и моей, сделанной по заданию политотдела дивизии Валентином Тихвинским, с коим впоследствии мы очень подружились, находится у меня. К сожалению, Валя (так звали его мы все) не дожил до победы: погиб в Венгрии осенью 1944 года.

Ну а пока что заглянем в следующий, ждущий своей очереди небольшой листочек. Сверху, с правой его стороны указана дата: 14 сентября 42 г., но она вступает в противоречие с другой датой, которую читатель, конечно же, заметит при чтении письма.

Вот оно, это письмо:

«Оля, дорогая моя!

Я получил твое маленькое письмецо, датированное от 19/IX–42 года, в котором ты выражаешь беспокойство по поводу отсутствия моих писем.

Скажу откровенно, на каждое твое письмо, в каких бы я условиях ни находился, я давал немедленно ответ. Но условия... вот эти самые условия, видимо, были причиной исчезновения моих писем. А эти условия были чертовски сложны, порою казались безнадежными, но о них я писал тебе в предыдущих письмах.

В предыдущем письме я тебе отправил маленькую фотокарточку, которую ты должна уже получить.

Сейчас у меня все в порядке, о сегодняшнем номере нашей фронтовой газеты напечатана моя большая статья о героях Отечественной войны.

Вот и все. Эту статью в следующем письме я тебе вышлю (*тут я чего-то попутал: в то время я мог напечататься разве что в «Советском богатыре», то есть в нашей дивизионной газете, а отнюдь не во фронтовой.* – М. А.).

До свиданья.

Жду от тебя письмо и фотокарточку.

Привет папе, маме и бабушке, а также привет Нюсе.

*Твой Мих. Алексеев».*

Что там такое еще за Нюся, я, право, не знал. Похоже, из новых подруг Оли. Больше меня озадачила и смутила собственная подпись: «Мих. Алексеев». Откуда явился этот Мих? Так обрубают пополам свои имена, либо укорачивают их только писатели, да и то не все, а лишь хорошо известные. Шолохов, например. А я-то к чему присобачил к своей обыкновеннейшей фамилии, уступающей, может быть, только Ивановым по их числу среди русских людей. Ну, и ну! – удивился я, встретившись с этим совершенно неведомым мне и нелепым «Михом» среди присланных мне моих же писем. А уж не подписал ли я так статью, помянутую в приведенном выше письме?! Ну, да Бог с ним, этим самозванным «Михом»!

На очереди у нас с тобой, читатель, следующее в порядке живой как бы очереди письмо. Кажется, самое короткое из присланных Ольгой.

«Здравствуй, милая Оля!

Я тебе посылаю маленькую статью, из которой ты узнаешь о человеке, которому я обязан своей жизнью и возможностью бороться дальше с фашистским зверьем.

До свиданья.

Иду сейчас в грозный бой.  
Твой Михаил.

Привет папе, маме, бабушке и Нюсе.  
17/IX-42 г.»

Как видите, к папе, маме, бабушке в нашей строго документированной эпистолярной повести появился еще один персонаж по имени Нюся, с коей я был совершенно незнаком ни тогда, ни сейчас. А вот о человеке, которому я действительно обязан своей жизнью, – и не только один я, а еще несколько бойцов из моей минометной роты – о Николае Сараеве. Это он при нашем выходе из окружения, встретившись почти вплотную с немецкой танкеткой, бросил под ее гусеницы связку из двух противотанковых гранат, уничтожил ее вместе с экипажем, а нас спас ценою собственной жизни. Так думалось поначалу нам, спасенным. В последнюю минуту мы видели Николая, лежавшего неподвижно перед горящей танкеткой в изодранной гимнастерке. А что было с ним потом, рассказывается в эпилоге романа «Мой Сталинград».

А вот – открытка. Первая, посланная из-под Сталинграда. Откуда она взялась? До нее я упаковывал свои окопные послания в треугольники, ставшие, как и наркомовские сто грамм, постоянными палочками-выручалочками для фронтового люда. А тут – открытка. Скорее всего, она пришла ко мне вместе с ответными письмами от Ольги, из далекого уральского городка Ирбита. От нее же я получил и несколько маленьких конвертиков, выпущенных где-то как бы специально для фронтовиков, коим недосуг писать длинные письма.



Ну а вот и мое письмо, как раз, что называется, тютелька в тютельку уместившееся в открытке:

«Здравствуй, Оля!

Отсутствием своих писем ты заставляешь меня сильно обижаться на тебя. Поверь, Оля, очень обидно, сознавая то, что ты находишься на фронте в таком напряжении и все же находишь время написать письма, а на них нет ответа... Порою эти письма на фронт доставляются под градом пуль и снарядов: так дороги они бойцам!

Только холодная душа не может понять этого. Это ни к тебе относится, Оля! Но все же я обижаюсь на тебя крепко: разве ты не имеешь возможности писать почаще?

Я привык к одиночеству. Я вырос один, без близких родных, и все-таки здесь я хочу получить весточку, очень хочу!

Ну о себе сообщать нечего, все по-старому: три раза ранен, но легко из строя не выходил ни разу. Вот и все. Желаю тебе, Оля, счастья и здоровья. Будь уверена во мне.

Привет папе, маме и бабушке.

*С приветом – Михаил Алексеев.*

*12/X-42 г.»*

Грустновато горький характер этого письма можно объяснить не только и не столько отсутствием писем от дорогого тебе человека, но, конечно же, положением нашим на фронте: именно в октябре 42-го немцы усилили свой натиск, отодвигая нас все ближе и ближе к берегам Волги, а в районе знаменитого сада Лапшина, столь часто упоминаемого в моем романе, уже вышли на ее западный берег, отделив друг от друга две армии – 62-ю генерала Василия Ивановича Чуйкова, и нашу 64-ю генерала Михаила Степановича Шумилова.

О помянутых в открытке моих ранениях более подробно рассказано мною в романе «Мой Сталинград».

В канун большого праздника, пишу подружке моей:

«Дорогая Оля!

Поздравляю тебя с днем 25-й годовщины Октябрьской Социалистической Революции!

У меня сейчас необычайное настроение. Хочется сказать так много, так сильно, чтобы выразить всю глубину и сложность своих чувств в столь торжественный для нашей родины день...

Ты прости мне, Оля, обстоятельства не позволяют написать тебе большое письмо. Сейчас нахожусь в 50 метрах от немца и веду с ним такой разговор:

– Рус, хватит война! – кричит он мне.

– Что, фриц, надоело? – отвечаю и спрашиваю я.

– Рус, приходи к нам!

– Приду, приду обязательно, но только затем, чтобы убить тебя, вшивого!

Мой собеседник на некоторое время умолкает, и его сторону я пускаю длинную пулеметную очередь и сопровождаю ее словами:

– Фриц, ты жив?

Молчит.

Левее метрах в 100 от меня слышу уже другого:

– Рус, идем кашу есть!

– Пошел ты на... – кто-то совершенно по-русски ответил ему.

И фриц умолк. А я сел писать тебе это письмо. Как видишь, Оля, я жив и здоров. А это как будто нам обоим необходимо. Ведь что бы там ни было, а мы должны встретиться и окончательно оформить свою дружбу. Так ведь, пичужка ты моя? Мне очень хочется увидеть тебя. Оля, я очень жду от тебя письмо, когда я читаю его, мне становится теплее и уютнее в окопе: нежные ласки подружки моей согревают за многие сотни километров.

Вот сейчас мне трудно сосредоточиться, и письмо выходит неуклюжим. Но ты поймешь меня и простишь мне это... Будут условия, напишу тебе большое, замечательное письмо! Между прочим, я в свободные минуты

работаю над книгой, пишу повесть. Уже написана большая часть, но, конечно, не обработана, некоторые отрывки из этой повести уже печатались в нашей фронтовой (*читай: дивизионной.* – М. А.) газете.

Как я работаю? Работаю примерно в сутки 24 часа. Днем иногда сижу в блиндаже и обрабатываю некоторые материалы, ночь провожу с бойцами, переползаю из окопа в окоп и беседую с ними, вселяю в них бодрость и уверенность в победе. В схватках с врагом приходится частенько и самому ложиться за пулемет, или наводить миномет в цель. Я теперь уже старший лейтенант.

Днем часика два засыпаю блаженным сном.

Конечно, все это делается под аккомпанемент артиллерийской канонады, трескотни автоматов и пулеметов. Но мы к этому как-то привыкли – необычная тишина нас больше пугает и настораживает.

Но все это вместе называется тяжелой жизнью фронтовика.

Вот и все. До свиданья, Оля. Пиши почаще. Если можешь, вышли фото.

Будь здорова и счастлива.

*С приветом – твой Михаил Алексеев.*

Привет от меня папе, маме, бабушке и Нюсе.

6/XI–42.

Адрес мой: 1704 ППС часть 13. Алексееву».

К этому довольно пространному письму потребуется мне, нынешнему, сделать комментарий чуть более подробный, чем предыдущие. Начать хотя бы с того, откуда это взялся старший лейтенант Алексеев, когда большую часть времени под Сталинградом он был в звании младшего политрука. Верно, так оно и было, когда он, то есть я был политруком минометной роты. И вдруг Верховному Главнокомандующему товарищу Сталину пришла в голову мысль ликвидировать в нашей армии институт комиссаров и ввести в ней, армии, единоначалие. Политработники-то останутся, но они будут уже не комиссарами корпусов, дивизий, полков, батальона, батарей, а заместителями по политчасти командиров: соответственно то же самое должно было произойти и с политруками рот – они тоже сделались заместителями своих ротных командиров. Вроде – понижение на одну ступеньку, а в воинском звании вопреки, казалось бы, простой логике получилось повышение более чем на ту же ступеньку для большинства ротных политруков, которых сталинская реформа захватила в самом нижнем звании, существовавшей для политработников: младший политрук. Получилось так, что я был сразу же, в один миг, удостоен звания старшего лейтенанта. Но почему-то не остался в почти заново возрожденной моей минометной роте, а был избран, а точнее сказать, назначен ответственным секретарем комсомольского бюро 106-го стрелкового полка нашей 29-й стрелковой дивизии. В том же полку, в каком пребывала и долго еще будет моя полковая минометная рота. 82-х миллиметровые минометы предназначаются для батальонов и поэтому называются на военном языке батальонными. Но одну такую роту по штатному расписанию выделяют отдельно в прямое подчинение командира полка, что составляло предмет особой гордости для всех нас, оказавшихся как бы в привилегированном подразделении.

Так я оказался неожиданно-негаданно комсомольским богом полка, а подчинялся другому богу, рангом повыше. Это был Александр Крупецков, капитан, всеобщий наш любимец, коего все мы знали со дня формирования дивизии в Акмолинске и вот до этой Сталинградской боевой страды. Должность его называлась: помощник начальника политотдела дивизии по комсомолу. Для всех нас он как был Сашей, таким и оставался сейчас. Что касается меня, то новая должность не удаляла меня от окопов, а скорее приближала к ним, поскольку мои подчинен-

ные, мои комсомолыта обитали только на переднем крае и ни где больше со всеми вытекающими для них и для меня последствиями.

А что это за «последствия», рассказано в «Моем Сталинграде».

А это, самое длинное письмо, написано мною на шестой день нашего долгожданного контрнаступления под Сталинградом. Оно выглядит как развернутый свиток, коим пользовались древнейшие архивариусы. Сама желтая тонкая бумага, неизвестно где и каким образом добытая мною, и буквы, написанные не то чернилами, не то карандашом, не то ни тем, ни другим, ни третьим, а черт знает чем, может указать на то, что человек, готовивший этот свиток, очень старался, чтобы он подходил к случаю... нет, не к случаю, а историческому по сути своей событию. Речь ведь идет о начале решительного, коренного перелома не только в Отечественной, нашей то есть, а во всей Второй мировой войне.

А письмо-то мое, похожее на свиток, адресовалось всего-навсего одной девятнадцатилетней девушке!

«Дорогая Оля!

Получил твое письмо и, как всегда, был очень рад ему. Во-первых, разреши поблагодарить тебя за твою искреннюю заботу ко мне. Во всем, даже в оформлении самих писем, чувствуется эта забота. А сегодня я впервые получил от тебя большое письмо, на которое и спешу ответить тебе. Постараюсь написать побольше. И мне кажется, что это мое письмо будет немножко необыкновеннее, ибо всего, что я мыслю рассказать тебе в этом письме, не уложишь в рамки обыкновенного письма.

Дело в том, дорогая моя, что отклики, которые поступили к тебе на мое августовское письмо, меня глубоко тронули и утвердили во мне самые лучшие чувства к нашим людям тыла, которым мы обязаны сегодняшними успехами на Сталинградском фронте. Передай им мое сердечное спасибо, этим неутомимым труженикам.

Оля, я трое суток не отдыхал, трое суток я в фанатическом напряжении. Но я не утомился. Какое право я имею утомляться, когда в нашу западню попался зверь, и его надо уничтожить. Трудно себе представить и, тем более, описать, с каким вдохновением воюют наши люди! Сегодня я видел много крови, черной фашистской крови.

Вот я остановился у трупa немецкого солдата. Лежит, оскалив зубы, с остеклененными бесцветными глазами. Кто он, этот солдат? Ганс, Роберт? Адольф? Нет! Он просто фриц! А фриц – не человек. Меня подергивает судорога омерзения: вот этот самый фриц, который сейчас лежит в отвратительной позе, мечтал пожрать Россию, этот плюгавый орангутанг считал себя сверхчеловеком? Сверх-человек, с огромной челюстью и низким лбом. Оно пришло, это немецкое ничтожество, построить «новый порядок». Мы узнали этот порядок – он нагадил нам и назвал это своим «новым порядком». И я гляжу на него, уже дохлого, и иронически думаю: вот эта гадкая козявка хотела сделать меня своим рабом. Глупый фриц! Он плохо знает нас. Да и где ему знать, узколобому! Он ведь не думал, что мы не захотим гнуть перед ним спину и слушать его обезьяний лепет. Ведь он не знал, что мы любим думать, а не орать, как он, свое «Хайль Гитлер!» И вот теперь, когда в его плоскую жизнь вмешалась русская «Катюша», фриц ошарашен. И он так и не успел догадаться, почему это так: его убили. А где-то далеко, в зловонной Гитлерии, живет его прожорливая самка с сучатами. Она, дура, не знает, что ее самец уже вытянул свои арийские лапы под Сталинградом. Она еще требует от него посылок. Пусть требует: он больше ничего ей не

пришлет, и сука со своими щенятами подохнут. Не поможет ей и колченогий блудодей Геббельс: ведь его речами сыт не будешь. Скоро голодные гретхен огласят пустую «Фатерланд» истерическими воплями, и крикливому карлику не заглушить этого рева своих жадных волчиц, – они его проглотят вместе с его победными реляциями... Мы же считаем своим долгом ускорить этот процесс. Кое-что мы уже сделали в этом направлении...

Мужайся, мой народ, мой славный, умный и честный народ: близок час расплаты с немецкими бандюгами за ваше волнение, за слезы, за кровь наших людей – за все отомстим и уже мстим мы.

Надо иметь черствое сердце, чтобы не отдать себя целиком этой величественной борьбе, если ты человек, ты не можешь не представить себе всего народного горя, которое принес ему фашизм. Я мысленно иногда перекидываюсь в глухой украинский хуторок. Там может быть еще жив истерзанный ребенок, сын моего брата. И вот он, худенький, с тонкой шеей и большими черными, не по-детски серьезными глазами, просыпается рано утром, трет грязненьким сухим кулачком глаза и неизменно спрашивает: «А где папа?...» – «Родненький, нет папы», – ответит мать и сама заплачет, заплачет и ребенок...

Сколько детских слез пролито, сколько материнских сердец надорвано!..

Тысячи деток спрашивают: «Где мой папа?» Милые, невинные создания, поганый карлушка-колбасник искалечил ваше детство, он отнял у вас папу. Он, детки, зверь, он не поймет вашего горя, он не знает, не поймет, что вам надо папу, а не его, поганого Карлушку. Будь ты проклята, Германия, породившая на наше горе двуногих зверей?

Я вижу старушку-мать, потерявшую сына, я понимаю ее горе: ее кровь погибла от руки незванного немца.

Я вижу молодую женщину, потерявшую мужа, и мне также понятны ее слезы: ее кормильца убил немец.

Я вижу девушку в слезах, и мне понятны ее слезы: ее любимого, юного друга убил кровожадный карлушка-колбасник.

Вся Россия возненавидела немца. И вот сейчас она обрушилась всей своей тяжестью на него. И пусть я вижу кровь: она фашистская, а не человеческая.

Докапаем немца, и над нашей многострадальной Родиной на многие столетия воцарится покой и царство разума и правды. И идя в светлое будущее, все вперед и вперед, к вершинам человеческого счастья, наш народ когда-нибудь вспомнит и о нас, положивших конец бессовестному фашизму.

Придет время, и возродится все: возвысится над Днепром, как символ непокорности, памятник Тарасу Шевченко, брызнут к небу фонтаны Петергофа, даст Украине свет и счастье Днепрогэс, и увидит счастливая белокурая девушка светлые глаза своего любимого... Хочется, хочется сказать просто по божественному: «Мир дому сему!»

Это будет скоро, скоро будет это! Когда «Россия снимет с плеча винтовку и скажет: Ну, теперь – жить!» (И. Эренбург).

Оля, ты спрашиваешь, как мое здоровье. Скажу прямо, здоровье мое больше, чем прекрасное. И я очень рад, что мы всегда находим общий язык с моим многоуважаемым здоровьем. Я лично в данный момент вовсе не хочу болеть, и мое здоровье вполне со мною соглашается. Кроме шуток, я очень

хорошо себя чувствую. Одели и обули нас превосходно, вооружили тоже превосходно.

Алексей, брат мой, жив и здоров, чувствует себя не совсем хорошо, естественно, что ему жаль своей семьи (*жена брата и двое маленьких детей остались в оккупации в Сумской области, в том самом хуторке, упомянутом мною в этом письме.* – М. А.)

Ты прости мне, Оля, за это письмо: я сам понимаю, что оно не совсем выдержанное во всех отношениях. Но ты поймешь меня.

На этом я заканчиваю писать. Передай мою искреннюю признательность Нюсе.

Привет папе, маме и бабушке.

До свиданья.

*С приветом – твой Михаил.*

*25/XI-42 года».*

Комментарии, как говорится, излишни. К тому же они уже сделаны мною в начале предлинного письма, продиктованного мне при особых обстоятельствах, подогревших, эмоциональный накал радости и гнева. Что касается гнева, могу сказать лишь одно. Будь я, двадцатитрехлетний парень, провидцем, который в сорок втором году неким чудом увидел, что будет в две тысячи втором, я, конечно, увернул бы пламя разгневанной души до разумного хотя бы уровня.

Но что было, то было. То, в общем, и написалось. И вопреки пословице не скоро быльем порастет. Нынешним нельзя подправлять и подстраивать историю на свой лад. История этого не любит и порою жестоко мстит за это. Вот так.

На другой же день после самого длинного письма отправляю самое короткое:

«Оля, еще раз здравствуй!

Чтобы ты имела побольше сведений о своем друге, я высылаю тебе эту статью. Она расскажет о моей жизни и моих боевых, делах.

*Твой Михаил.*

*26/XI-42 г.»*

Что это за статья, кем написана, где опубликована, – не знаю или не помню. Возможно, находится у Ольги. В недавнем звонке из Ужгорода она сказала, что часть моих писем и каких-то других материалов остается в ее собственном архиве.

1-го декабря 1942 года послано еще письмо.

«Дорогая Оля!

Получил от тебя письмо от 7 ноября 1942 года. Благодарю за то, что считаешься с моими мнениями.

В своем письме ты вспомнила 12-е сентября 1941 года, когда я был среди вашей семьи. Признаться, что я тоже очень часто вспоминаю те дни. Наше знакомство произошло в грозные дни, когда Родная Украина уже истекала кровью, когда на лицах наших людей стояла печать глубокой скорби и обиды.

Ты спрашиваешь, почему я тогда не разрешил тебе проводить себя подальше.

Трудно сейчас ответить на этот вопрос. Вообще, Михаил Алексеев в своей жизни делал немало ошибок, и эта, мне кажется, была одна из моих ошибок, потому что (я чувствую это) я своей, может быть, непредусмотрительностью заставил тебя в течение целого года мучительно думать об этом вопросе.



Но скажу прямо, что у меня тогда не было особых предвзятых намерений, и если я так поступил в это время, то только потому, что не желал тебя расстраивать, потому что через несколько минут я выехал на фронт. Возможно, это неубедительно, тогда я не смогу ответить точнее. Надеюсь, будущее покажет, что я не люблю обманывать своих друзей.

Ты только прости мне, Оля, что так плохо пишу. Поверь, это все делается в окопе, в стесненных условиях. Мне иногда просто стыдно: я от тебя получаю замечательные письма, а отвечаю коряво, грязно.

Ты спрашиваешь о моих ранах. От них и следа не осталось (*следы-то, впрочем, остались и по сей день.* – М. А.) Да это, в сущности, были и не раны, а царапины.

Вот и все.

Пока до свиданья, родная!

Будем надеяться, что это свидание все-таки будет.

Привет от меня папе, маме, бабушке и Нюсе.

Будь счастлива.

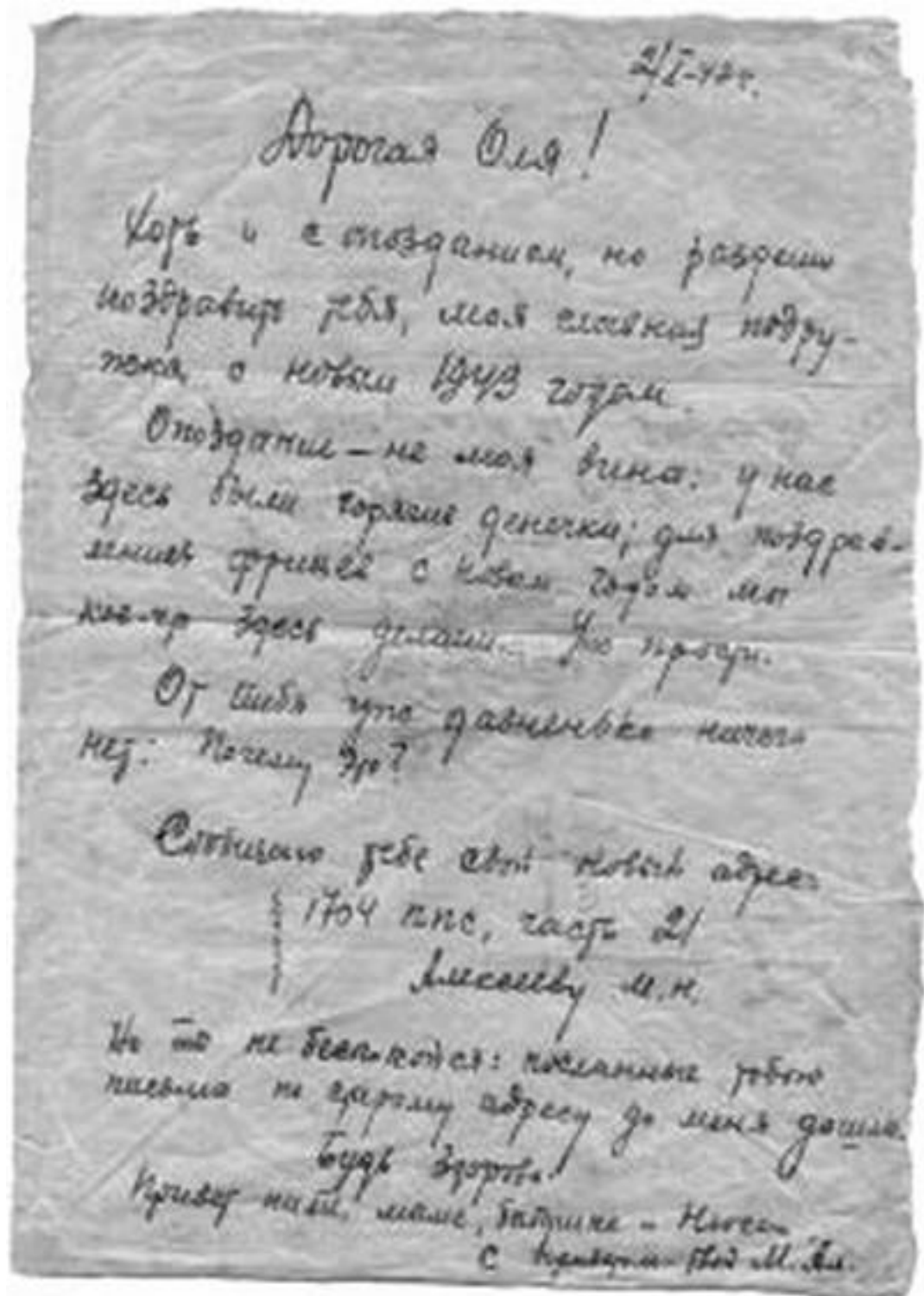
*Твой Михаил.*

Постскриптум. Прости, забыл поблагодарить тебя, моя славная подружка, за фото. Большое спасибо.

Оля, прошу прислать мне новый адрес твоего папы. М. А.»

В конце письма указана дата: 1/XII–42 года.

Следующее мое письмо, приводимое здесь, написано 2 января 1943 года. В нем сказано:



«Дорогая Оля!

Хоть и с опозданием, но разреши поздравить тебя с Новым 1943 годом.

Опоздание — не моя вина. У нас здесь были горячие денечки: для поздравления фрицев с новым годом мы кое-что здесь делали... Уж прости...

От тебя уж давненько ничего нет. Почему это ?

Сообщаю тебе свой новый адрес: 1704 ППС, часть 21. Алексееву М. Н.

Но ты не беспокойся; посланные тобою письма по старому адресу до меня дошли. Будь здорова.

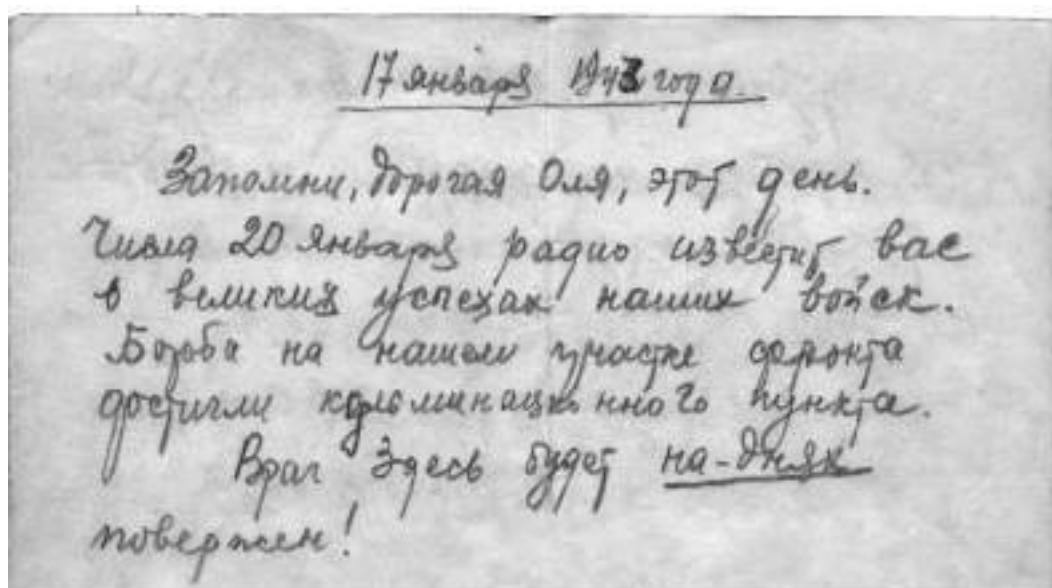
Привет папе, маме, бабушке и Нюсе.  
*С приветом – твой М. А.»*

Что же, однако, означают «горячие денечки», помянутые мною как бы мимоходом в этом коротком письме? Безусловно, имелась в виду наша подготовка к решительному штурму окруженного врага и окончательного его разгрома под Сталинградом. Этого требовал все с большей настойчивостью Сталин от Рокоссовского и Воронова. Особенно после того, когда Паулюс отказался от предложенной ему капитуляции.

Штурм, как известно, начался ранним утром 10 января 1943 года. К этому времени я уже был переведен в артиллерийскую штабную батарею командующего всей артиллерией дивизии полковника Николая Николаевича Павлова.

Более подробно обо всем этом рассказано в романе «Мой Сталинград».

И наконец еще об дном письме: оно, кажется, последнее, написанное мною и направленное на Урал, в Ирбит, 17 января 1943 года:



«Запомни, дорогая Оля, этот день. Числа 20 января радио известит вас о великих успехах наших войск. Борьба на нашем участке фронта достигла кульминационного пункта.

Враг здесь будет **на днях** (*подчеркнуто мною. – М. А.*) повержен!

Пишу я тебе письмо в суровый мороз, на дороге нашего наступления. Возможно, у меня будет когда-нибудь время описать тебе эти героические дни.

Вот сейчас мимо меня партия за партией гонят пленных немцев.

Это – ходячая смерть. Возмущенная Россия мстит!

А по полю куда ни глянь – всюду трупы, трупы врага... И невольно вспоминаются слова из известной пушкинской поэмы:

«О, поле, поле!  
Кто тебя усеял  
Мертвыми костями?»

Трудна и тяжка наша борьба; она требует невероятных моральных и физических усилий человека. Но зато и величественна эта борьба.

Да, Оля, это точно – защитники Сталинграда творят чудеса.

Мы ведем здесь поистине уничтожающую, истребительную войну. Мы жестоко мстим немцам за лето 1942 года.

Разрушенный Сталинград воспрянул и тысячами хоронит немцев в своих холодных приволжских степях.

Оля, сейчас мы непрерывно движемся вперед. Мне даже нет возможности получить на ППС твои письма, а их, наверное, уже накопилось много.

Иногда, Оля, приходится переносить нечеловеческие трудности. Ты только представь себе: с 14 июля 1942 года мне ни разу не пришлось отдохнуть в какой-либо хате: все окопы, да блиндажи... И все-таки сознание благородной борьбы вливает новые силы, способные перебороть все невзгоды.

Ты, Оля, конечно, замечаешь безобразие в моем почерке и содержании написанного. Прошу прощения: руки коченеют. Подумать нет времени. Пищу все, что немедленно приходит в голову.

Пишу тебе это письмо на немецкой бумаге и высылаю тебе в немецком конверте. Можешь не беспокоиться: она, была упакована, и лапа немецкого солдата не прикасалась к ней.

Пиши мне по адресу: 1704 ППС, часть 21. Алексееву М. Н.

До свиданья, моя голубка! Будь здорова и счастлива. Жду новый адрес от папы. Привет ему, маме, бабушке и Нюсе. Алексей (*брат мой*. – М. А.) шлет вам большой привет. Он жив, здоров, бьет немцев.

*С приветом – твой М. Алексеев».*

\* \* \*

Теперь, после всего сказанного выше, у читателей неизбежно возникнет вопрос: «А где же ответные письма Ольги Кондратенко времен Сталинграда? Они же были, и было их много, очень даже много. Где ж они?»

Сгорели. Сгорели и в буквальном и переносном смысле в войне, которая после кровопролитных сражений на Волге продолжалась еще более двух лет. Это ведь я сам как-то умудрился, да и то с Божьей помощью, остаться живым и не сгореть вместе с письмами, которые приходили ко мне в окопы Сталинграда. Зато в послевоенное время, да и то в несколько самых последних лет, переписка возобновилась и продолжается с ускорением. По понятным всем, как я надеюсь, причинам...

Только теперь письма ко мне приходят из Ужгорода, а к ней, Ольге Николаевне Кондратенко, от меня из Москвы.

Вот одно из таких, писем Ольга Николаевна начала писать 7 октября 1998 года, а закончила 21/X–98 года. Трудилась над этим «посланием», как она сейчас называет свои длинные письма, целых, как вы видите, четырнадцать дней.

Я привожу его полностью, потому что удивительная эта женщина заслуживает того, чтобы о ней узнало как можно большее число моих современников, и бывших и нынешних. Наберитесь терпения, добрые люди, и прочтите:

«Мишанька, здравствуй, дорогой!

Мне трудно подобрать слова, которые могли бы выразить тебе мою признательность и благодарность за присланные: и твое произведение «Мой Сталинград» и, конечно, письмо – такое сердечное и доброе, от всей души благодарю тебя, друг мой славный, что откликнулся на мое скорбное послание, поддержал в столь тяжкое для меня время, – спасибо родной (*речь идет о*

*смерти ее матери. – М. А.). Я, безусловно, не могла удержаться от слез, но это были уже слезы радости, которую ты принес мне, прислав мне и письмо, и свою книгу (пусть даже в журнальном варианте, от этого ценность ее не уменьшается).*

Что-то я никак не могу сосредоточиться над письмом-ответом, видимо, полученная мною твоя бандероль выбила меня из колеи. Слишком много воспоминаний и переживаний навяла она, взбудоражила мою память, всколыхнула чувства, отбросила намного лет назад, хотя и на протяжении всей своей жизни никогда и ни при каких обстоятельствах не забыла тебя, дорогой Миша, – моя какая-то необыкновенная и очень трудная любовь! (По всей вероятности, она и не бывает легкой, если, конечно, настоящая.)

Теперь я должна сердечно поблагодарить тебя, друг мой, что ты все же вспомнил обо мне в своем произведении, применив превосходную степень в описании моей личности, подчеркнув мою верность и преданность тебе, поставив мне в заслуги поддержание, как ты образно выражаешься, светильника, благодаря которой не погасла наша прекрасная дружба... А свои самодельные тетради, которые с любовью оформляла, разрисовывала цветами в г. Ирбите – моя фантазия, – любила рисовать.

Папа хорошо рисовал, у нас были его картины, но бесконечные переезды с завода на завод (был такой период), привели к их потере, особенно когда во время войны пришлось эвакуироваться и все оставлять вообще, взяв с собой только самое необходимое. По твоей просьбе (ты просил сохранить твои общие тетради, в которых была написана твоя повесть «Крестьяне»). Я упаковала их в маленький чемоданчик, а свои альбомчики с фотографиями артистов, уложила в портфельчик (школьный мой) однако против взятия альбомов стали родители, они возражали, чтобы брать таковые в дорогу, но здесь ты, Миша, принял мою сторону, сказав такую фразу: «Я бы даже в бой взял их!» И вопрос был решен в мою пользу, мама и папа согласились с твоим мнением (ты был для них авторитетом, они ведь очень любили тебя). После этого чемоданчик и портфельчик были связаны мною веревочкой вместе, и когда объявлялась воздушная тревога, хватала мои сокровища и забиралась с ними в убежище, позже они поехали с нами в далекий и опасный путь...

13 сентября 1941 года мы распрощались с тобой, когда ты прибежал ненадолго домой, сказав, чтобы немедленно покинуть город, ибо немцы совсем уже близко... На заводе нам выделили лошадь (на две семьи) по кличке Невдалый (он вполне оправдывал ее, но службу нам сослужил) и на рассвете 14 сентября 1941 года нами были покинуты Сумы. Положив на подводу свой скарб, весьма незначительный, конечно, двинулись в путь пешком, пройдя в первый день 35 км; труднее всего было бабушке моей, поэтому время от времени ее усаживали на подводу. К вечеру добрались до Краснополя или Белополя (сейчас уже точно не помню), остановились в хате, в которой появились еще и военные (какие-то летчики), и нас уже стало там полным-полно. Через некоторое время добрались до Белгорода, который порядочно бомбили. Когда подали эшелон, началась суматоха, давка, паника; толпа резко оттолкнула от нас бабушку, которая затерялась в ней. Мы остались, дав объявление по радио, но безуспешно, бабушка исчезла, и, как позже стало известно, уехала этим эшелонам. Нас же все случившееся задержало на два-три дня в Белгороде, пока не появилась возможность двинуться в дальнейший путь. Колесили долго: покидая прифронтовую полосу, вновь в нее попадали,

т. к. надо было освобождать пути для более важных составов. На восток везли раненых, навстречу им и нам шли эшелоны на запад с оружием, боеприпасами, с будущими фронтовиками – такими милыми и дорогими. Они подходили к нашему сборному поезду, на платформах которого были и самолеты, разбитые, видимо; на некоторых была пшеница – все это сопровождали какие-то военные. Ребята, ехавшие на фронт, подкармливали нас, говоря нам: «Вы оттуда, а мы туда!» Сердце обливалось кровью от всего происходящего. Наконец двинулись дальше, доехав до станции Приколотная, остановились, ибо появился немецкий самолет и сбросил две бомбы, которые, к счастью, не разорвались. Тогда с бреющего полета летчик стал строчить по вагонам из пулемета; кое-кто выпрыгнул на землю, он переключился на высочивших из вагонов (наша семья оставалась на месте, решив: что будет, то и будет...). Были раненые и убитые. Крик матери, державшей на руках убитую девочку лет трех-четырех и кричавшей: «Я же ехала, чтобы спасти тебя!» Запомнилась и девушка, тяжело раненная в бедро. С нами были индивидуальные пакеты, которые отдали, конечно, на перевязки пострадавшим.

Бомбы оказались, когда их обезвреживали, набиты песком, и в них были обнаружены записки на русском языке: «Чем сможем, тем поможем». Двинулись снова, доехав до Купянска, вновь остановились, вокзал был полностью разбит, к эшелону подошли какие-то люди и сказали: «Чего вы стоите? Только недавно здесь бомбили поезд с эвакуированными. Убитых схоронили в большой братской могиле!..» Но как-то Бог миловал, и мы отправились дальше, медленно, с частыми остановками, добрались до Саратова, куда должен быть эвакуирован Сумской ликероводочный завод (*с этого-то завода и ушел на фронт мой брат Алексей. – М. А.*), но там уже были стекла в окнах заклеены бумажными лентами, ожидался, по всей вероятности, налет вражеских самолетов, поэтому поехали в направлении города Свердловска, куда нам был дан эвакуацион-лист. С нами были адреса твоих родных, написанных тобою перед нашим отъездом из Сум. В своем письме, Миша, ты отмечаешь достоинства моего почерка, его красоту (он многим нравится), но пишу я не быстро (это уже минус), а вот твой почерк был и красив, ложился на бумагу быстро и четко (не думай, что у меня, как в известной басне И. А. Крылова: «Кукушка хвалит Петуха за то, что хвалит он Кукушку») – нет, дорогой мой, это правдивое и справедливое мое мнение: кстати, в данном конверте, как вещественное доказательство, высылаю тебе на память подлинную эту бумажку, а у меня остается копия, снятая уже давненько.

А что стоили твои письма, присланные мне с фронта ?! – они были безупречны по содержанию и написаны почерком, заслуживающим похвалы, а если учесть еще и тот ад крошечный, в котором рождались эти строчки, то это просто чудо, друг мой сердечный!

Путь наш до Свердловска оказался долгим, утомительным. Наконец добрались, там мы смогли привести себя в надлежащий порядок, немного отдохнуть у своих друзей довоенных лет.

Папу приняли на работу в трест, который объединял спирто-водочную промышленность, а буквально через несколько дней (трест этот) оказался в г. Ирбите, куда уже в огромном количестве съехались эвакуированные из Москвы и Ленинграда, начался монтаж: заводов, школы переоборудовались под эвакогоспитали. Подходил к концу 1941-й год, кое-как расквартировали

массы приехавших, в т. ч. и нам выделили половину комнаты в доме по улице Первомайской, Д-м 23, куда на протяжении всех военных лет ты, мой милый, писал мне свои письма и стихи, позже присылал свои статьи из газет, которые, к сожалению, не все до меня доходили (да и весточки – тоже)...

Дом был битком набит: здесь находились и хозяева законных своих квартир, и приезжие, проживающие временно, пока не придет возможность вернуться в родные края. Жили дружно, в тесноте да, как говорится, не в обиде, все трудились день и ночь, почти без выходных и праздников, под лозунгом: «Все для фронта, все для победы!» Делились друг с другом всем, никаких оплат за жилье не существовало, нападений друг на друга не было, грабителей тоже, а тем более – убийств, все были едины в одном желании оказать помощь и поддержку нашим дорогим защитникам – фронтовикам.

Мы с мамой определились на работу в Ирбитский Учлесхоз, находившийся на территории Гавани, где сплавлялся лес; там я в начале 1942-го года, встретила и познакомилась с Фрумой (она в 1944-м году писала тебе), позже присоединилась к нам Рита, работавшая в Леспромхозе (Маргарита Соломина, между прочим, двоюродная сестра артистов Юрия и Виталия – ихние отцы были родными братьями). У нас троих началась большая и верная дружба, длившаяся многие годы (когда-то, шутя, применили к нам название «святая троица»; к великому сожалению, Риты, Маргариты Сергеевны, уже несколько лет нет в живых...

В Учлесхозе проработали с мамой месяца три всего, потом мама устроилась работать на водочный, а я на химико-фармацевтический завод № 38 – это была часть огромного завода «Акрихин», эвакуированного из Москвы.

Временно оба завода находились на одной территории, но спустя некоторое время водочный был переведен в другое место – «Госхиммартзавод» стал разрастаться, вводя в действие все новые и новые цеха. Производство было очень вредным, отработанные газы погубили вокруг всю растительность, в помещениях стояла дымовая завеса, особенно когда проходила загрузка сырья, в цехе пантоцида, например, работать приходилось даже в противогазах. Я работала в бухгалтерии, – она, вместе с конструкторскими бюро и другими отделами, находилась на втором этаже над цехами, вырабатывавшими сульфидин, и вот в момент загрузки аммиака, дышать было очень тяжело, еще и глаза слезились, а производство работало круглосуточно. Меня спасало то, что время от времени отправлялась в центр города с заданиями: получение зарплаты для коллектива в Госбанке и там же сдачи платежных поручений, на Почтамте – перевода. А вызвано такое было тем, что кассир – женщина, хотя еще и довольно молодая, но больная, не могла преодолевать большие расстояния, не позволяло сердце, а я была среди работающих в бухгалтерии самая молодая – бегогонная, вот и выполняла эти задания, носясь по учреждениям со своим портфельчиком (уже знакомим тебе по моим описаниям выше), а в период получения денег присоединяла еще и чемоданчик (тоже знакомый). Однажды со мной приключилась (в момент получения зарплаты для завода) большая беда, но о ней в следующий раз... И так уж много написала, утомила, наверно, тебя, Мишенька, своей писаниной.

Однако хочу еще в этом письме написать о том, что в начале февраля 1942-го года папу призвали в Армию и мы с мамой остались вдвоем, бабушки с нами тогда еще не было, она объявилась уже потом, оказалось, что намного раньше нас приехала в Свердловск, найдя наших друзей. Каждый

день отправлялась на вокзал в надежде встретиться с нами, но однажды не вернулась и, как позднее выяснилось, очень заболела и прямо с вокзала попала в больницу, а выздоровев, была направлена в какой-то колхоз, где добросовестно работала, став даже стахановкой.

Папа служил недалеко от Ирбита: станция Монетная, разъезд Кедровка, п/я № 3, по этому адресу ты, Миша, как-то писал папочке. Благодаря близкому расстоянию иногда удавалось встретиться с папой: то он приезжал к нам, то мамочка ездила к нему, а его командиры довольно часто навещали нас с мамой, приезжая по делам в Ирбит, но это уже особая тема... Может быть, тебе неинтересно, конечно, описания жизни нашей тех далеких лет, но если бы, друг мой, нам удавалось встречаться с тобой чаще в послевоенные годы, я могла бы все это рассказывать при встречах, однако этого не получалось, поэтому я пишу теперь. Небось думаешь: ну вот еще объявился на мою голову один «писатель» со своими «мемуарами»!..

Считаю также своим долгом поблагодарить тебя, Мишенька, за столь высокую оценку моих умственных способностей, – спасибо, дорогой. Попутно вспомнила доброго, умного и преданного нашей семье друга (папиного ровесника), очень веселого, знавшего меня с детства, который говорил мне: «Ты, Лялечка, умница – это кошка дура!» После войны он приезжал к нам в Сумы, потом – в Ужгород. Сокрушался, что не удалась, не сложилась, как следовало бы, моя личная жизнь... В 1963 году посылала ему в Харьков, где проживал он со своей семьей, подарок – твой «Вишневый омут», высоко оценил он эту твою книгу (у меня хранится его отзыв, написанный в письме). Из жизни Ильи Юрьевич ушел раньше папы еще.

Хочу коснуться нашего с тобой несчастья: нами потеряны очень близкие родные люди, мы действительно осиротели. Анастасия Николаевна (*моя сестра*. – М. А.) любила тебя всей своей доброй, ласковой душой. Если бы ты знал, как она радовалась каждому твоему, к сожалению, и редкому, и слишком краткому по времени приезду. Сообщая в своем послании о твоём посещении всегда писала: «А у меня был мой дорогой, любимый братик, братец!» Мы, конечно, радовались вместе с нею (в какой-то степени, встречался и с нами), посещая Анастасию Николаевну, ее родных и близких.

24 октября исполнится уже полгода, как ушла из жизни мама (время летит быстро!), а в памяти и душе ощущается очень острая горечь пережитого – боль эта не проходящая...

Миша! Тебе передает привет Михаил Петрович Ганус, встречавшийся с тобой в редакции журнала «Москва» – 8/IX–85 г., тогда ты в память о встрече с ним подписал ему своих «Драчунов», а мне «Карюху» с «Драчунами» вместе. Время от времени он навещает меня: был на похоронах мамы, также – на поминках, 21-го июля, в числе других моих друзей, поздравлял с днем моего рождения (всегда преподносил мне чудесные цветы). В одном из подарков была вложена открытка моей приятельницы-коллеги в прошлом, в которой написаны следующие строчки: «Мне радостно вспоминать годы совместной работы в „Гипрограде“ и постоянное духовное общение с Вами. В своем „Архиве“ Вы несли каждому „Лучик“ заботы, любви, внимания. Спасибо, родная, за все». Где-то больше десяти лет я была зав. техническим архивом и, естественно, общалась со всем большим коллективом нашего института. Вот так, Мишенька, у тебя я поддерживала «Светильничек», здесь несла «Лучик» – в общем, старалась всегда делать доброе, уважать и любить людей...



Однако пора и честь знать, наверно, утомила тебя (я-то пишу в несколько приемов, а тебе придется читать – в один).

В данном конверте высылаю еще и фотокарточку, теперь уже очень давней поры. Это снимок из общей фотографии, пусть он напомнит тебе, мой милый, о той прекрасной юности, когда произошла наша встреча... И еще: нашла старые бумаги, связанные с ответом на твое заявление и правила поступления в немецкий Государственный Педагогический институт – гор. Энгельс на Волге, может быть, тебе будет интересно их прочесть.

Пожалуйста, Мишенька, не оставляй меня без внимания, мне так нужна твоя моральная поддержка, прошу тебя – поддержи и ты наш многолетний «Светильник»...

Просьба передать мою благодарность тем, кто передал тебе мое письмо, – большое им спасибо и добрые пожелания в жизни. Сообщаю другой номер своего телефона: 4-34-33. Когда-то нам звонили из Москвы: 8-031 и т. д. Постарайся и ты позвонить мне, ибо в настоящее время я просто не располагаю такой возможностью – затруднения в Финансовом отношении, может, в будущем – позвоню, а пока – извини, не могу.

Книгу твою «Мой Сталинград» читаю со слезами; конечно же, некоторые строки – с улыбкой, где встречаюсь с присущим тебе юмором. Я твой читатель необыкновенный, вникающий буквально в каждое твое слово, кроме того, чувствующий всегда присутствие рядом самого автора, его близость...

Прими мое сердечное поздравление с успешным завершением колоссального труда над этим романом, который стоил тебе, мой родной, безусловно, много сил и здоровья.

Твою бандероль получила 24/IX–98 г. Прости, что задержалась с ответом, но причин, весьма уважительных, хватает...

Наконец, кажется, все. Желаю долгих лет жизни в добром здравьи и благополучии.

Обнимаю, целую и я тебя, Миша.

Пиши.

*Ольга.*

*21/X–98 г.»*

Вот так, уважаемые мои читатели, через это почти что исповедальное письмо, я только и смог наконец познакомить вас с человеком, сохранившим все (до единого!) мои письма, написанные в окопах Сталинграда без малого 60 лет назад.

Приведенное же здесь письмо Ольга Николаевна Кондратенко писала, когда работа над романом «Мой Сталинград» продолжалась. Она успела прочесть лишь первую его часть.

*Переделкино. 10. 07. 2002 г.*

## От автора

*...нет величии там, где нет простоты, добра и правды.*  
**Л. Н. Толстой. «Война и мир»**

«Мой Сталинград» – это действительно мой, а не чей-то там Сталинград. В Сталинградском побоище участвовали миллионы солдат. И в судьбе каждого, взятого отдельно, Сталинград 42-го и 43-го отразился по-своему. Он, этот отдельно взятый, мог быть участником великой битвы всего лишь один час или даже одну минуту, но этот час и эта минута стоили целой жизни, потому что из Сталинградского сражения выйти живым – это почти противостоестественно, а погибнуть в нем – это в порядке вещей, это почти неизбежно. Каждый из нас, кто был там, мог бы сказать: Сталинград – это моя судьба. И из слагаемого миллионов судеб зримо предстанет судьба победителей и побежденных, судьба живых и мертвых, больше мертвых, чем живых.

Вот почему я решил рассказывать только о том, чему сам был свидетель, и о тех, кого знал хорошо по службе в одной воинской части, по совместным боям в междуречье Дона и Волги летом и осенью 42-го и зимой 43-го, при этом соблюдая железную установку: ничего не придумывать, не досочинять. А если и сочинять, то лишь исходя из характера описываемого события или действительного лица. Сочинять так, чтобы ни это лицо, ни те, кто с ним соприкасался, не усомнились в подлинности поступка или сказанных слов.

## Книга первая

### Часть первая Абганерово

#### 1

До поры до времени никто из нас, оказавшихся августовским летом сорок второго между Доном и Волгой, как между тяжким огненным молотом и наковальней, – никто не знал, не ведал, что слово «Абганерово» будет включено в наши души и навсегда, до последнего часа останется там у тех немногих, кому неким чудом удалось выжить.

Двумя неделями раньше сформированная в казахстанских степях 29-я стрелковая дивизия, новенькая, с иголки, свеженькая, укомплектованная по штатному расписанию, предназначенная было для обороны Москвы на дальних подступах к ней и временно расквартированная под станцией Волово Тульской области, неожиданно, в одну июльскую ночь и в одно утро была погружена в эшелоны и с бешеной скоростью устремилась куда-то на юго-восток. Немного смущены мы были одной из последних сводок Совинформбюро, где с непостижимой для тех военных дней откровенностью была названа чудовищная цифра (помнится, в 70 тысяч) попавших в окружение и пропавших без вести наших бойцов. Зная о 12-ти тысячах, составляющих численность полнокровной дивизии, каждый из нас, погружившихся в спешном порядке в эшелоны, делил в уме те семьдесят тысяч на эти двенадцать и умолкал в угрюмом изумлении от этой жестокой арифметики. Умолкал, смутно догадываясь, что именно последним сводкам с Юго-Западного, а теперь уж, кажется, Юго-Восточного фронта дивизия (а оказалось, не одна дивизия, а целая вновь сформированная армия, которой суждено будет стать 64-й, напарницей 62-й, о которой теперь говорят и пишут с неперменным эпитетом «легендарная») обязана тем, что ее в полсуток поставили на рельсы и помчали к безвестным пока что боевым рубежам.

Но мы были, повторяю, свеженькие, обутые и одетые с иголки, хорошо накормленные, отлично, как нам казалось, обученные военному делу, уверенные в себе до заносчивости, весь путь до Сталинграда пролетели с песнями. Нашего боевого духа не отпугнула и ночная бомбежка на короткой остановке на станции Грязи. Днем, на таких же коротких остановках, выбегали из вагонов для быстротечного общения с гражданскими людьми, в основном женщинами, стариками и мальчишками, вышедшими сюда, чтобы поглазеть на мчавшиеся через их станции эшелоны и хоть таким образом увериться, что силы наши неисчислимы, что «враг будет разбит и победа будет за нами».

В эшелоне, в котором разместился наш 106-й стрелковый полк, много было молодых веселых людей, но главным заводилой, вроде обязательного «культурника» в каком-нибудь санатории, был командир роты ПТР (противотанковых ружей). Мы в нашей полковой минометной роте<sup>4</sup> не пытались даже узнать ни его имени, ни фамилии. Но лейтенант этот запомнился. Был он немолодым, наверное, уже за тридцать, для нас же, двадцати- и восемнадцатилетних, это уже человек в годах. Он первым выскакивал на остановках из своей рыже-бурой теплушки, громко хлопал в ладоши, совал четыре пальца в рот и, дико, пронзительно свистнув, волчком вертелся вокруг своей оси, что-то приговаривал, блестя единственным среди нор-

---

<sup>4</sup> Полковой рота называлась потому, что была выделена из батальона в непосредственное подчинение командира полка.

мальных золотым зубом, и через минуту на перроне или просто на лужайке за железнодорожной насыпью подымался дым коромыслом.

Ночью, кажется, в Поворино, нас опять немножечко побомбили, но ни один вагон не пострадал, и веселое путешествие эшелонов продолжалось. Буйство бездумной веселости, продиктованной неукротимой верой и в дело свое, и в силы свои, вдруг застопорилось, как бы наткнувшись на что-то неожиданное и пугающее. Это случилось сразу же за Сталинградом, за Бекетовкой, когда навстречу нам выполз странный эшелон с изрешеченными вагонами, наполненными тем не менее до отказа по большей части тяжелоранеными, кое-как перевязанными грязными бинтами и просто тряпками из порванного на клочки нижнего белья. Белые от соли гимнастерки и брюки также порваны, из-под них выглядывали голые, в струпьях засохшей крови колени и локти. Военные люди – рядовые и командиры – облепили со всех сторон и сам паровоз, с одышкой влачивший остатки, а точнее бы сказать, рваные куски разгромленных врагом недалеко отсюда (это было ясно!) частей и соединений, недавно еще таких же вот свеженьких, полнокровных и веривших в несокрушимость свою.

Два эшелона встретились и теперь глядели друг на друга: один с испуганным недоумением (наш) и другой как бы с горькой, мефистофельской ухмылкой, как бы говоря: «Ну, ну, давайте-давайте! Посмотрим, что у вас получится!»

Мне почему-то захотелось увидеть в эту минуту нашего веселого пэтээровца. Он, по обыкновению, первым выскочил из вагона и, наверное, пустился бы в пляс, но теперь и он стоял в некоем оцепенении, полуоткрыв рот со своим единственным золотым зубом, коий особенно задорно и празднично блестел у него на прежних наших остановках, а сейчас лишь подчеркивал ощутимую всеми и все-таки загадочную тягостность этой неожиданной встречи. Кто-то по привычке крикнул, соскакивая на землю:

– Лейтенант!.. Что же ты?.. Давай!

Пэтээровский командир вздрогнул, мгновенно повернулся в сторону сказавшего эти слова и, побагровев, тяжело выдохнул:

– Ду-у-рак!

Через несколько минут эшелоны двинулись: наш – на юго-запад, в сторону Котельниково, а тяжело раненный – в противоположную сторону. Он вползет в Сталинград, а там его остановят, начнут лечить и приводить в порядок: рядовых и командиров «расфасуют», больных и раненых отправят по госпиталям, а здоровых накормят, обуют, оденут и направят в маршевые роты, как диктует суровый и непреклонный закон войны.

Нам же по пути к Дону придется отхлебнуть из горькой чаши еще ох как много капель. От полустанка Жутово, где нашему 106-му приказано выгрузиться, оставшийся сорокакилометровый путь до берегов Дона совершили походным порядком. На всем этом пути встречались нам группами и поодиночке измученные до последней степени военные люди: бойцы и командиры, красноармейцы, сержанты, старшины, лейтенанты, капитаны, майоры и даже полковники – все вместе. То, что это были военные, определить можно было разве лишь по пилоткам, фуражкам со звездами, да по кирзовым и яловым голенищам сапог, да по влачившимся вслед за многими рваным обмоткам.

Удивительным было и то, что большинство из этих как бы раздавленных каким-то невидимым грузом людей не расставалось со своим оружием: у командиров из запыленных кобур виднелись рукоятки наганов и пистолетов; у рядовых и сержантов из-за спин торчали стволы карабинов и винтовок даже с примкнутыми трехгранными и плоскими (СВТ) штыками; некоторые не расстались и с касками, правда, не надевали их на голову, а несли на шее, как боевые лошади несут торбы в походе. У многих сохранились противогазные сумки – без самих противогазов: какой же дурак будет переть этот ненужный груз по знойным степям в сорокаградусную жару?! Ни у кого, однако, не было ни пулеметов, ни противотанковых ружей, ни минометов (даже ротных, пятидесятимиллиметровых), ни артиллерийских орудий (даже «сорокапятки»),

которые часто перекатывались их расчетами вручную). Позже выяснилось, что такое оружие отбиралось у выдохшихся в неравных схватках с врагом и отходивших, – отбиралось свежими подразделениями, выдвигавшимися к Дону, чтобы задержать неприятеля. Этими свежими оказались две какие-то морские бригады, которым отведен был рубеж обороны на добрую сотню километров по изгибистым берегам Дона.

Ни окопов, ни ходов сообщения никто не приготовил морским пехотинцам. Они успели вырыть для себя колодезобразные норы по пояс и торчали теперь в них, как большие невиданной черной окраски сурки, выложив по краям этих нор противотанковые и обыкновенные («лимонки») гранаты, зажав между ног карабины и автоматы, а в потрескавшихся от внутреннего и внешнего зноя губах давно потухшие сигарки.

Как тогда, так и позднее я не мог понять, да не понимаю и теперь, почему никому не пришло в голову переодеть этих свертотважных людей в защитного цвета одежду? Вопрос этот особенно остро обжигал сердце, когда уже зимою, на окраинах Сталинграда, над белым до ослепительности полем подымались в атаку моряки в своих черных шинелях и шапках, тоже черных, становясь идеальными мишенями для немецких пулеметов и автоматов; до горчайших слез, до удушья в горле было обидно видеть, как все белое пространство, над которым подымались моряки, в несколько минут усеивалось черными точками убитых и раненых, которых и убрать-то днем никто бы не смог. Приходилось слышать, что, снявши бушлат и надевши обыкновенную зеленую гимнастерку, моряки уже перестанут быть моряками, вместе с формой морскою они утратят и отвагу, и силу, как сказочный Черномор, лишившийся своей бороды... Не знаю, так ли это, но знаю по не единожды видимому мною самим: дорого же платили морские бригады, сделавшись пехотою и отказавшись от всего, что делает пехотинца менее уязвимым на поле боя. Серенькая шинелишка и зеленая, вылинявшая к тому же на солнце гимнастерка куда как менее заметны, скажем, летом на этой вот серо-рыжей, выжженной, опаленной горячим дыханием небесного светила донской и сталинградской равнине. Даже в своих норах матросы сейчас, днем, хорошо были видны с воздуха. Потому-то на них постоянно и пикируют то «фокке-вульфы» и «мессершмитты» в одиночку, то целою стаею, выстроившись в кильватерную колонну, «юнкеры», помимо бомб и пулеметных очередей, перед тем как улететь не преминут в последнем пикировании включить сирену с ее душераздирающим воплем и бросить издырявленную пустую бочку или изогнутый рельс, издающие звуки, рвущие на куски твои нервы. Впрочем, матросов-то таким музыкальным сопровождением едва ли можно было испугать, вывести из душевного равновесия: нервы у них крепки, крепость эта у них была в генах, доставшихся им в наследство со времен Ушакова и Нахимова, а может быть, еще и с тех времен, когда «Россия молодая, в бореньях силы обретая, мужала с гением Петра», да и позднее – от кронштадтских моряков...

Проходя через эти реденькие огневые черные точки, мы слышали за своей спиной озорные выкрики развеселой матросни:

– Давай, жми, пехота! По-лунд-ра-а! Сейчас фриц полные штаны наложит!.. Ха-ха-ха!.. Жми, братва!..

Мы не отвечали на эти обидные для нас выкрики. Не отвечали либо потому, что были менее находчивы, либо потому, что уже видели над собой «раму» – двухфюзеляжный «Фокке-Вульф-189». Те из нас, которые уже побывали в боях и пришли в нашу дивизию с маршевыми ротами, хорошо знали, что вслед за «рамою» жди «музыкантов», то есть пикирующих бомбардировщиков «Юнкерс-87» – это уж как Бог свят! А там начнется такое... В общем, кто хоть раз попадал в эту карусель, тот по гроб жизни не забудет о ней.

Вот какую «песенку» обещало нам появление «рамы». Видели ее, конечно, и моряки, и не хуже нашего знали, что за нею последует, а все-таки оставались верными себе: не отказывались от переходящей как бы по наследству привычки подтрунивать над представителями иных родов войск, не смогли удержать в себе высокомерно-снисходительной усмешки по нашему

адресу. А ведь часом раньше в одну их нору прямехонько угодила бомба, и теперь над этой норой высился небольшой рыжий холмик с бескозыркой на вершине.

«Черт с вами, смейтесь! – думалось нам, пехотинцам. – Смейтесь, черти полосатые! А мы вот идем и через полчаса, а может и того меньше, сойдемся нос к носу с немцами! Вы еще о нас услышите! Да и сами-то вы повеселели не оттого ли, что увидели такую свежую подмогу?...»

## 2

Поротно, побатальонно полк выходил к Дону и спешно занимал оборонительный рубеж по его восточному берегу с задачей не дать врагу переправиться через реку. Полковая минометная рота расположилась в большом саду, за хуторами Верхний и Нижний Яблочные. Сад с трех сторон охватывался глубокой канавой, насыпь которой давно заросла терновником. Лучшего места, казалось, и придумать нельзя для огневых позиций минометных расчетов. В какой-то час расширили лишь канаву в местах, где должны были стоять наши «трубы», то есть 82-миллиметровые минометы. Тут же должен признаться, что был огорчен, попавши в роту, а не в батарею 120-миллиметровок. В последнем случае я бы назывался комиссаром, а теперь – политрук. Как бы там ни говорили, а комиссар есть комиссар: звучит революционнее и солидней! Сразу же позади нашей роты разместился со своей батареей 120-миллиметровых минометов двадцатитрехлетний младший политрук Иван Ахтырко, мой ровесник, в одном со мною звании, но он – комиссар! Не потому ли не вынимает изо рта обкуренную до черноты и обсмоленную губами трубку? Не в подражание ли комиссару 25-й Чапаевской?.. Поздней осенью 1941 года, когда наше Харьковское артиллерийское училище вывели из боев и отправили в город Чирчик, под самый аж Ташкент, успевшие подружиться на фронте, мы, то есть Иван и я, сговорившись, написали заявления с просьбой вновь направить нас в действующую армию. На первые наши просьбы был получен отказ Политуправления Туркестанского военного округа, и только с третьего захода, с третьей попытки удалось попасть во вновь формирующуюся в далеком и продуваемом всеми лютыми сибирскими ветрами Акмолинске дивизию. Иван получил назначение в минометную батарею, а я – тоже в минометную, но роту. Он стал комиссаром, я – политруком. Впрочем, по должности-то я оказался на ступеньку выше своего друга: рота моя была полковой, а это значит, что по военной табели о рангах она приравнивалась к батальону. При случае я напоминал Ивану об этом, а он снисходительно улыбался и попыхивал своей фурмановской комиссарской трубкой.

Не знаю почему – может быть, догадывались, что мне это понравится, – но кое-кто в роте нередко величал меня комиссаром. И щеголеватый ее командир с его безупречной выправкой лейтенант Вилиев, и его заместитель, превеселый, вечно улыбающийся лейтенант Сережа Гайдук, и командиры взводов Усман Хальфин, Дмитрий Зотов и Миша Лобанов, самый молодой не только среди нас, офицеров, но и среди красноармейцев, и сержант Гужавин – нет-нет да и назовут меня так. Слышать это от Гайдуга, Зотова и Гужавина особенно лестно: все трое уже побывали в боях, а Гужавин и Зотов – еще и в госпитале после ранения, они попали в наш полк с маршевой ротой. Правда, в голосе и словах озорного Гайдуга можно было различить легкую иронию. «А что думает комиссар?» – спрашивал он иногда, обращаясь ко мне, и шурился, большой рот его при этом растягивался и делался еще больше. Но я не замечал, а вернее бы сказать, не хотел замечать его хохлацкой «усмишки».

Итак, рота заняла огневой рубеж, изготовилась к бою. За Доном, прямо перед нами, было тихо. Погромыхивало где-то правее и левее нас. В первый же день под вечер ко мне наведались сразу четыре младших политрука, с которыми подружился еще в Акмолинске, при формировании нашего полка. Это – упомянутый выше Ваня Ахтырко, политруки стрелковых рот Сергей Алексеев, мой, значит, однофамилец, Василий Зебницкий и политрук пулеметной роты Николай Соколов, высокий смуглолицый красавец-хохол, по которому, несомненно, тоскует

теперь не одна акмолинская казачка. Были среди нас двое, коих мы называли «женатиками», – это Василий Зебницкий и Ваня Ахтырко. Этот последний по пути из Ташкента в Акмолинск так часто показывал мне фотографии жены и крохотной дочери, так горевал о них, оставшихся под немецкими оккупантами, что мне стало понятным его нетерпение поскорее вновь отправиться на фронт. Зебницкий ничего не рассказывал о своей семье, но время от времени впадал в тихую угрюмость и украдкой вздыхал. Мы, холостяки, были беспечны и, соответственно, глупы, иначе бы не позволяли себе при «женатиках» распространяться на счет супружеской неверности и женском непостоянстве. Особенно назойлив по этой части был озорнувший Гайдук, примкнувший к нашей «комиссарской» компании.

– Только ты за порог, а она уж... – начал было он очередную историю, но взорвавшийся вдруг Ваня Ахтырко наградил его таким ядреным подзатыльником, что тот сейчас же умолк, и был до того смирен, что мы готовы уж были пожалеть его. Громыхнувший поблизости пушечный выстрел заставил замолчать и всех остальных.

Ребята поспешно разошлись по своим ротам. Гайдук почесал свою «потылицу», пробормотав беззлобно:

– Добрая оплеуха. Шо ж, так воно и нужно. Заслужив!

– Заслужил, – подтвердил я.

Утром немецкие самолеты безбоязненно пролетали над нами чуть ли не на бреющем: зениток в дивизии, кажется, тогда не было совсем. Пулеметных же очередей и одиноких винтовочных выстрелов «мессершмитты» и «юнкерсы» не боялись. Порою мы видели нахально улыбающуюся рожу гитлеровского аса, и это было больно. В этих случаях Сережа Гайдук, пустив вслед врагу хорошенькую матерщину, показывал еще и туго скрученный кулак, шепча сквозь зубы: «Погодь, гад, сымем мы тебя когда-нибудь с небес!»

Конец второго дня и вся следующая ночь прошли у нас спокойно. Лишь там, за Доном, одна за другой взмывали в черное, беззвездное небо немецкие ракеты да тянулись с западного на восточный берег длинные, кривые строчки трассирующих пуль. Несколько настораживало то, что немецкие ракеты взлетали справа и слева вроде бы уже на нашей стороне. Но это могло показаться: река тут прихотливо, затайливо петляет, так что правый берег мог оказаться левее левого и наоборот. А утром, когда жаркое степное солнце поднялось достаточно высоко, чтобы накалить воздух до обжигающей гортань сухости, неожиданно был получен приказ: отходить! Лейтенант Виляев, наш ротный, пожимал в удивлении плечами, глядел на меня, на своего заместителя Гайдук, и в расширившихся в страхе глазах его был немой вопрос: «Что это?.. Не ошибка ли?.. Отходить средь бела дня?.. По этой ровной пустыне, по степи?..» Прибежал на наши огневые и Ваня Ахтырко. Запыхавшийся, взмокший, раскрасневшийся, он с ходу выкрикнул:

– Приказ на отход получили?..

– Получили, комиссар, получили! – ответил за всех Гайдук, правая рука его при этом невольно пощупала затылок. – И новый рубеж нам указан: хутор Чиков на Аксае.

– Ну, и мы туда же. Значит, вместе... – и он побежал на батарею.

### 3

Минометчики быстро свернулись. Лотки и ящики с минами были уложены на повозки, а сами минометы с их лафетами, опорными плитами, трубами быстро оказались на спинах бойцов. Только в одном взводе у лейтенанта Усмана Хальфина были передки для минометов – последнее изобретение каких-то умных наших оружейников. Тут достаточно одного человека, ну, может, двух, чтобы, ухватившись за ручки, легко катить вслед за собой это наипростейшее, но в высшей степени неприятное для вражеской пехоты оружие. Хальфин, этот невозмутимый казанский татарин, со своим взводом находился в некоем отдалении, правее остальных взво-

дов, и командир роты послал туда связного с распоряжением, чтобы и Хальфин поскорее снимался и выходил в степь, на главную дорогу, на которой, видно было, вытягивались остальные подразделения полка.

Сразу же за хутором Верхний Яблочный дорога подымалась на высокую пологую гору, за которой начиналась бесконечная ровная степь, рыжая и от пожухлых прежде времени трав в засушливое, знойное лето, и от медленно оседающей бурой пыли, поднятой тысячами ног и колес. Кто-то крикнул в колонне: «Рама!» – задравши голову и указывая на двухвостого змия, выплывшего откуда-то из-за Дона и распростершего свои крылья над отходившими нашими полками, не сделавшими, по сути, ни единого выстрела по противнику.

«Рама» бросила на колонну свои «штатные», обязательные четыре бомбы, не причинившие, однако, нам никакого вреда, и медленно удалилась.

– Теперь жди «музыкантов»! – вновь прокричал тот же боец, видать, успевший уже понюхать пороху и хорошо знавший, что к чему на фронтовых путях-дорогах, в том числе повадки распроклятой «рамы».

Ждать пришлось недолго. Что-то около ста пикирующих бомбардировщиков «Юнкерс-87» под прикрытием десятка «мессершмиттов» и «фокке-вульфов», обладающих помимо своих прямых истребительных свойств еще и пикирующими возможностями, появились над колоннами, когда дивизия целиком покинула занимаемые ею рубежи по берегу реки и уже оказалась на равнине, растянувшись на ней более чем на полтора десятка километров. И вот тут началось!..

Началась знакомая фронтовому люду карусель. В жарком безоблачном небе «юнкерсы» в одну минуту построили великанских размеров колесо, похожее на то, какие бывают в городских парках, только во много раз увеличенное в размере. И колесо это начало свое огненное кровавое вращение. Бомбы, сотни бомб сыпались под крутым углом на повозки, на орудия на конной тяге, на автомашины. Первичную обработку колонны косым дождем пуль производили «фоккеры», в азарте снижающиеся чуть ли не до самых касок и пилоток наших бойцов. После первых же взрывов бомб и пулеметных очередей множество лошадей уже билось в упряжках с развороченными животами, с иссеченными, окровавленными крупами; грузовики с ящиками снарядов и мин взрывались; уцелевшие кони, обезумев, уносились в степь с передками пушек, с повозками. Командиры и красноармейцы разбегались в стороны, некоторые искали убежища в кюветах: большинство же убегало в высокий сухой бурьян и там, слившись с ним своими бурыми гимнастерками, укрывались. Слышалось, как осколки бомб, ударяясь о бодылья, перешептывались, зловеще шушукались друг с другом: «шу-шу». Повозочные нашей полковой роты по приказу опытного и хитрого Гайдука рассыпались по степи, вроде бы растаяли в бурьянах, и только этим, пожалуй, можно было объяснить совершенно невероятное и непостижимое: ни одна повозка, ни единая лошадь не пострадали, и ни один минометчик не только не убит, но даже не был ранен.

Был, правда, момент, про который и вспоминать-то не хотелось бы. Еще задолго до того, как выйти на боевые рубежи, мы, командиры и политработники, в особенности же наш лейтенант Виляев, настойчиво требовали от своих бойцов, чтобы они при появлении вражеских самолетов открывали по ним огонь из любого оружия, какое только окажется в ту минуту в их руках. Минометчики, похоже, вспомнили сейчас про это и, лежа на спинах, подняв стволы винтовок и карабинов кверху, постреливали в пикирующих бомбардировщиков. Стреляли, не смущаясь тем, что ни один из «юнкерсов» пока не рухнул на землю от таких выстрелов.

Стрелял и сержант Гужавин. И делал это спокойно, как-то даже буднично, будто балуясь. Малую саперную лопату, каковыми были снабжены минометчики, у него буквально вырвал из рук лейтенант Виляев, пытавшийся выкопать для себя в этой каменной, точнее, окаменелой земле хотя бы крохотный окопчик. Для этого сперва он царапал грунт пальцами, тыкался,



видно, в него и носом, с которого теперь капала сукровица. При очередном заходе «музыкантов» лейтенант вдруг заорал на Гужавина:

– Перестань стрелять!.. Ты... ты демаскируешь нас!..

По гроб жизни не забуду взгляд сержанта, брошенный в тот миг на ротного командира. В глазах фронтовика было и удивление, и с величайшим трудом скрываемое презрение, и жалость, которая в таких случаях граничит с омерзением, и сознание того, что ты, подчиненный, ничего не можешь поделать, ты обязан подчиниться. Чтобы, видно, унять дрожь в пальцах, дрожь, вызванную не страхом, а вот этим самым презрением и стыдом за своего командира, Гужавин сжал шейку ложа так, что ногти сделались синими на пальцах рук. Подползши к нему поближе, я положил молча свою руку на разгоряченную, окинувшуюся обильным потом голову сержанта. Левою рукой он перехватил мою над кистью и сжал, словно тисками. Глаза его при этом увлажнились.

– Ну, ну... – только и было сказано мною. «Юнкерсы» и «фокке-вульфы», отбомбившись и отстрелявшись, спокойно улетели. Подразделения вновь выходили на дорогу, погружали раненых на уцелевшие телеги в машины (убитых присыпали горячей землей там, где их настигли пули или осколки бомб) и продолжали движение. Душу при этом терзала горчайшая мысль: как же это так, что свежая, полнокровная дивизия, не убивши ни единого врага, уже в первые дни понесла такие ужасные потери? Стоило ли для этого съезжаться со всех концов огромной страны в заснеженную казахстанскую степь, где днем и ночью, в лютую стужу, готовиться к тому, чтобы стать боевым соединением, грозным для противника и вселяющим уверенность в грядущей победе для нас, ее бойцов и командиров, и не только для нас, но для всех, кто, отнимая у себя последнее, отдавал своим защитникам? Стоило ли?..

Через час или того меньше повторилось все сызнова. Но таких потерь, как при первом налете, уже не было. Немецких летчиков, как ни странно, подводила их же «рама». Она появлялась для того, чтобы навести на колонну «юнкерсы». Но это было сигналом и для нас: мы успевали заблаговременно разбежаться от дороги далеко в стороны и укрываться в высоких и густых бурьянах. К тому же и вели себя воздушные разбойники не так нагло, как при первом появлении. Если в первом случае их адовый круг проворачивался над нами до пяти раз, то в последующем только по одному, от силы по два раза. И «остепенил» немного немецких летчиков младший лейтенант Николай Савченко, командир одной из артиллерийских батарей. Зная, что зениток у нас не было и наших истребителей что-то не видать, он решил попробовать пострелять по пикировщикам в момент выхода их из пике из своих полевых 76-миллиметровых пушек. В такой момент «юнкерс», набирая высоту с самой нижней точки своего пикирования, резко убавляет скорость, как бы даже зависает в воздухе. Это-то и заметил младший лейтенант Савченко. Первые же выстрелы его орудий оказались чрезвычайно удачными. На землю один за другим упали два «юнкерса», сопроводив свое падение двумя страшной силы взрывами. Восторженными даже не криками, а какими-то исступленно-радостными воплями наших бойцов огласилась донская степь. Люди повскакивали на ноги, чтобы получше разглядеть места падения вражеских самолетов. Видно было, как к младшему лейтенанту Николаю Савченко подбежало несколько пехотинцев и вместе с артиллеристами его батареи, вдохновляемые выскочившим откуда-то Иваном Ахтырко, принялись качать комбата. Пилотка последнего упала на землю, белые кудри вспыхнули на солнце, раскудрявились еще больше...

## 4

Первая победа дивизии, еще не успевшей вступить в настоящие бои с противником (не считая передового ее отряда, который столкнулся с неприятелем за неделю до подхода основных сил), – первая эта победа была до крайности и нужна, и важна нам.

К месту сосредоточения, к хутору Генераловскому, вышли к полудню, и там «считать мы стали раны, товарищей считать». И многих, пожалуй, даже очень многих недосчитались. Наша полковая минометная рота, рожденная под холодной сибирской звездой в студеной североказахстанской степи, могла бы назвать эту звезду счастливой для себя. Могла бы... Но мы не знали, что со взводом лейтенанта Усмана Хальфина, так и не присоединившимся к нам в походе. Мучились мы и от горькой мысли: зачем же нас, так хорошо расположившихся и изготовившихся к бою по восточному берегу Дона (а мы действительно были готовы во всеоружии встретить тут врага), – зачем же нас отвели, да еще в такой спешке, среди бела дня?.. Не знали мы, командиры среднего и младшего звена, не знали и не могли знать того, разумеется, и рядовые красноармейцы, что юго-западнее немцы уже заняли Котельниково и продвигались вдоль железной дороги к Сталинграду, а севернее тоже форсировали Дон, угрожая отрезать все наши соединения, оборонявшиеся в излучине реки.

Выкупались в чистой-пречистой степной речке Аксай, взбодрились немного, рассчитывая хотя бы на короткий отдых после кошмарного перехода. Однако из штаба полка прибежал связной: комиссар майор Горшков в сверхсрочном порядке созывал всех политработников части. Связной, запыхавшийся, в курившейся за спиной потом гимнастерке, так и вымолвил: «Сверхсрочно!» Комиссару Горшкову было не более тридцати, но под бременем ответственности за судьбу двух с половиной тысяч человеческих существ, а более того, за судьбу предстоящих боевых операций, – под бременем всего этого он хмурился, прибавлял взору своему и всей своей осанке больше солидности и изо всех сил старался казаться гораздо старше своих лет. Когда все собрались в большом колхозном саду на окраине Генераловского, он медленно окинул нас этим своим прихмуренным взглядом, медленно же расстегнул планшетку, вынув бумагу со словами, коим суждено сначала потрясти наши души, а затем уж и произвести действия, решительным образом перевернувшие прежние представления о ходе и возможном исходе великой войны.

То был знаменитый приказ Верховного Главнокомандующего И. В. Сталина за номером 227. Может быть, единственный за всю войну документ, автор которого плюнул на все цензурные соображения (на что лишь один он и имел право) и выплеснул в его жестокие строки правду о трагически складывавшейся, да уже и сложившейся обстановке на фронте. Он, этот приказ, был также единственным, который прочитан от строчки до строчки, от слова до слова перед всеми воюющими людьми, от командующего фронтом до рядового включительно, хотя нумерация его и начиналась одной или даже двумя цифрами «О», долженствующими вроде бы указать на то, что речь идет о бумаге секретной и даже сверхсекретной. Грозная, смертельно опасная обстановка на юге продиктовала Ставке необходимость сказать о ней, что называется, открытым текстом.

В том же саду, в овражках, в балках – всюду, где можно было укрыться, мы, политруки рот и комиссары батарей, вернувшись от Горшкова, зачитывали приказ. Я чувствовал, что бумага с текстом не хочет держаться в моих руках, норовит вырваться из дрожащих пальцев, а гортань сковывается обжигающей сухостью, язык то и дело прикипает к небу. Глаза заливались потом, и их приходилось все время протирать тыльной стороной ладони. Собственный голос казался чужим. Но я все-таки читал:

«Враг бросает на фронт все новые силы и, не считаясь с большими для него потерями, лезет вперед, рвется в глубь Советского Союза, захватывает новые районы, опустошает и разоряет наши города и села, насилует, грабит и убивает советское население. Бои идут в районе Воронежа, на Дону, на юге у ворот Северного Кавказа. Немецкие оккупанты рвутся к Сталинграду, к Волге и хотят любой ценой захватить Кубань, Северный Кавказ с их нефтяными и хлебными богатствами. Враг уже захватил Ворошиловград,

Старобельск, Россошь, Купянск, Валуйки, Новочеркасск, Ростов-на-Дону, половину Воронежа...

После потери Украины, Белоруссии, Прибалтики, Донбасса и других областей у нас стало намного меньше территории, стало быть, стало намного меньше людей, хлеба, металла, заводов, фабрик. Мы потеряли более 70 миллионов населения, более 800 миллионов пудов хлеба в год и более 10 миллионов тонн металла в год. У нас нет теперь преобладания над немцами ни в людских резервах, ни в запасах хлеба. Отступить дальше – значит загубить себя и загубить вместе с тем нашу Родину. Каждый новый клочок оставленной нами территории будет всемерно усиливать врага и всемерно ослаблять нашу оборону, нашу Родину...»

Я видел, что страшные слова свинчаткой падали на притихших бойцов. Сперва они переглядывались, как бы не верили своим ушам, спрашивали расширившимися глазами друг друга: «Что же это?.. Как же это?..» А потом уже и не переглядывались. Застыли, как окаменелые, да я и сам уж не мог оторвать своих глаз от бумаги, чтобы посмотреть в их лица, будто тяжко провинился перед ними. А слова-булыжники падали и падали на них, норовя попасть непременно в сердце:

«...надо в корне пресекать разговоры о том, что мы имеем возможность без конца отступать, что у нас много территории, страна велика и богата, населения много, хлеба всегда будет в избытке. Такие разговоры являются лживыми и вредными, они ослабляют нас и усиливают врага, ибо, если не прекратим отступление, останемся без хлеба, без топлива, без металла, без сырья, без фабрик и заводов, без железных дорог».

Чем дальше, тем страшнее.

Легко ли было слышать про то, что советские люди, для которых армия всегда была любимцей, теперь возненавидели ее за бесконечные отступления, что земля наша, хоть и велика, но не безгранична, что...

Останавливаясь на короткое время, чтобы перевести дыхание, смочить языком высохшие губы и нёбо, я чувствовал, что по-прежнему боюсь взглянуть на притихших и придавленных тяжестью прочитываемых мною слов минометчиков. Лейтенант Вилев стоял рядом с сержантом Гужавиным. Я еще до этого напряженнейшего часа заметил, что все последнее время он старается быть поближе к этому минометчику, взглядывал на него как-то просительно и заискивающе. Гужавин же ни единым движением бровей и губ не давал понять, что помнит о проявленной столь позорно трусости ротного. Правую рукой он придерживал за плечо самого юного из его расчета бойца-казаха Жамбуршина, слушавшего приказ с полуоткрытым ртом, обнажив ряд ровных и мелких, ослепительной белизны зубов, делавших его похожим на ребенка. Командиры взводов младшие лейтенанты Дмитрий Зотов и Миша Лобанов стояли почти в обнимку – похоже, им так-то вот легче было под ужасающей тяжестью грозных слов, невидимо, но с физической осязаемостью падающих на них из исторического приказа. Старался казаться спокойным лишь Сережа Гайдук, но и тот зачем-то вытащил из кобуры револьвер и теперь мучил его в своих руках, пытаясь таким образом унять дрожь в пальцах. Убежала куда-то краска с юного свежего лица младшего сержанта Николая Сараева, самого, пожалуй, молчаливого из всей полковой минометной роты. В момент, когда я останавливал чтение, Сараев снимал с головы пилотку и обтирал ею лицо, на котором, впрочем, как и на всех остальных лицах, в изобилии выступал пот.

«Стоять насмерть! Ни шагу назад!» – вот что колотилось в мозгу и сердце каждого, вот что обжигало, сушило глотку, заслоняло дыхание. И это уже были не слова, а осознанная, каж-

дою клеткой нервов впитанная необходимость совершить нечто большее, чем в твоих силах, чтобы отвратить смертельную опасность, нависшую над страной, над ее и нашей судьбой.

Под вечер, перед тем как выйти к новому рубежу обороны, в район хутора Чиков на том же Аксае, всем без исключения (в том числе и нам, минометчикам, командирам и рядовым) выдали по две противотанковые гранаты.

Переход к Чикову был совершен ночью, без потерь (опять подумалось: почему бы не сделать того же самого при первом переходе?).

Ох, сколько же раз в последующем будет задан самому себе и другим вопрос: «Почему?» Чаще, однако ж, он будет задан самому себе и отнюдь не вслух...

В один из тех дней, а именно 20 июля 1942 года, в кабинете первого секретаря Сталинградского обкома партии раздался звонок. Он был из тех, которые не забываются. О нем расскажет потом в своих воспоминаниях Алексей Семенович Чуянов. Договорившись сам с собой по возможности воздерживаться от цитирования, в этом случае я решил сделать исключение от своей же «железной» установки, поскольку речь идет о человеке, который с первого и до последнего дня Сталинградской эпопеи находился в городе, не покидал убежища даже тогда, когда оно, это убежище, подготовленное загодя московскими метростроевцами, одно время находилось в буквальном смысле почти «под немцем», в Комсомольском садике, глубоко под землей в том месте, до которого гитлеровцам оставалось не более десяти шагов. Командующий 6-й немецкой армией Фридрих Паулюс и не подозревал, что где-то совсем близко работает «подпольный» обком партии.

Но то будет потом. Пока что послушаем Чуянова, черновики мемуаров которого оказались у меня сейчас под рукой:

«Я перевернул листок настольного календаря – 20 июля 1942 года. Смотрю на часы. Время 2 часа 30 минут. В этот момент раздается звонок телефонного аппарата „ВЧ“. Поднимаю трубку и слышу голос А. Н. Поскребышева – первого помощника Генерального секретаря ЦК партии:

– Товарищ Чуянов?

– Да.

– Будете говорить с товарищем Сталиным...

В трубке послышался щелчок переключения. Жду. Чувствительная мембрана телефона «ВЧ» передала мне за тысячу с лишним километров прерывистый вздох Сталина. Мне даже показалось, что я вижу, как шевелятся его прокуренные рыжеватые усы. Обычно Сталин не торопится говорить. Приложил, вероятно, телефон к уху и раскуривает трубку, прислушивается и тем дает мне время собраться с мыслями, приготовиться к разговору. Как всякий глубоко мыслящий человек, ничего не делает впопыхах и других не толкает на спешку. Так, по крайней мере, думал я о нем в ту пору, таким он и живет во мне, в моей памяти до сих пор. Но в тот момент он изменил себе или в самом деле ощутил суровость назревающей битвы под Сталинградом так, что ему некогда было выжидать моих приготовлений и раскуривать трубку.

– Здравствуйте, товарищ Чуянов...

И, не дав мне произнести ответного приветствия, непривычно торопливым голосом обрушил на мой слух несколько вопросов, увесистых и суровых, как булыжники из катапульты:

– Как у вас идут дела? Как вы готовы встретить наступающие немецко-фашистские войска, которое рвутся к городу и будут пытаться с ходу взять его? Что предпринимает командование фронтом?..

Говорить со Сталиным до этого мне приходилось не так уж часто, а теперь в его голосе я улавливаю какую-то особую тревогу и злость на неудачи,

постигшие наши войска, отходящие к Волге. Почти вижу, точнее, представляю себе жгучий взгляд его карих глаз, суровость сомкнутых бровей. Откровенно говоря, этот звонок, эти вопросы выбили меня из нормальной колеи. Мною овладело волнение, переходящее в дрожь. Собираюсь с мыслями, механически подтаскиваю к себе какие-то папки, справки, донесения...

– Что же вы молчите? Отвечайте, я жду... Жду ваш ответ на мои вопросы.

И в голосе его я уловил, что он чувствует мое состояние тревоги и неуверенности. Собравшись с мыслями, я сказал:

– Обстановка, товарищ Сталин, в городе тревожная, но промышленность работает с огромным напряжением, выполняя фронтовые задания. Народ в городе относительно спокоен...

– Значит, «относительно»?.. Продолжайте...

– Относительно в том смысле, – пытаюсь я пояснить, – что налеты немецкой авиации на город мы переживаем без паники. Рабочие заводов стойко держатся на своих рабочих местах. Что касается жителей города, то коренное население, подготовленное к обороне, ведет себя, я бы сказал, без паники. Многие, особенно из прибывших с западных районов, постепенно оставляют город, отправляясь в восточные районы страны.

– Значит, говорите, все спокойно... Только вот утекают подальше. Ну, продолжайте...

Мне показалось, что я потерял самообладание. Кому неизвестна ирония Сталина, да еще в такой интонации?!

– Ну а как насчет командования фронтом? Что оно предпринимает, что вы думаете об этом? – чуть повременив, спрашивает Сталин.

– Командование фронтом собирает отходящие части и соединения, укрепляет фронтовую линию обороны, но действует, на мой взгляд, медленно, да и резервов, особенно танковых, у него недостаточно...

– Значит, в общем, дела идут спокойно... Все хорошо, только вот утекают подальше, не оказывая решительного сопротивления противнику, наступающему нагло, самоуверенно и при попустительстве, прежде всего, командования фронтом.. А вы, секретарь обкома, член ЦК, миритесь с беспечностью командования фронтом, да еще меня успокаиваете... У вас под носом утекают трусы, паникеры и другие мерзавцы. Ведь убежал же от вас военный округ в Астрахань со всеми своими службами. Вы решили успокоить Сталина и нарисовать все в розовых красках? Завтра немцы сядут вам на шею и удушат, как кроликов.

– Это не так, – возразил я Сталину. – Переезд командования и аппарата Военного округа начался по распоряжению вашего заместителя генерала Щаденко. Обкому партии стало известно об этом только после шифровки Щаденко. Для формирования резервных частей округу требуется более спокойная обстановка.

– Ну, в этом я еще разберусь и, кого следует, накажу. Передайте командующему Военным округом: я требую немедленно вернуться и заняться обороной города. И предупреждаю: за неисполнение моего приказа я строго его накажу (вместо последних трех слов в первоначальном варианте рукописи стояли другие слова, скорее всего, доподлинные: «расправлюсь с ним, как с последним мерзавцем», но Чуянов, а может, осторожный редактор заменил их на более мягкие. – М. А.). А вам поручаю вмешиваться во все дела,

бороться с дезорганизаторами и паникерами. И запомните: когда фашисты оседают вас, будет поздно вести борьбу за изгнание их с нашей земли!..

Сталин прекратил разговор со мной и, как видно, гневно швырнул трубку телефона на рычаг отключения. Послышался звук, затем шорох и только после этого щелчок контакта».

Между тем линия фронта неотвратимо приближалась к Сталинграду. Еще раньше нашей встречи с искалеченным эшелонам в Бекетовке в город поодиночке и группами, пешком и на лошадях, захваченных в донских станицах и хуторах, прибывали бойцы и офицеры, которым удалось вырваться из окружения – да не одного, а нескольких. Эти, кроме сострадания, никаких других чувств не вызывали у сталинградцев. Но ведь были и такие, которые не делали ни малейшей попытки хоть на немного задержаться, закрепиться и оказать врагу сопротивление, а просто бежали сломя голову на восток, к Волге, а ежели удастся, то и за Волгу.

Вот тогда-то 10-я дивизия НКВД, расквартированная в Сталинграде, получила неожиданное задание: выдвинуться на западные окраины города сперва вовсе не для того, чтобы остановить немцев, а для того, чтобы задержать своих, тех, что бежали без оглядки от линии фронта на восток. Так что дивизии, которая славно покажет себя в разгар Сталинградской битвы, сражаясь в южной части города, какое-то время пришлось исполнять не самую почетную и уж никак не героическую роль большого заградотряда.

Ранним утром 13 июля в Сталинград припожаловал – разумеется, на легковых и крытых грузовиках – штаб разгромленного на Изюм-Барвенковском направлении Юго-Западного фронта во главе с прославленным героем гражданской войны и недавним Наркомом обороны Маршалом Советского Союза С. К. Тимошенко. Бесславно закончивший свое существование Юго-Западный получит вдруг бессмертное имя Сталинградского фронта и с именем этим прославится навеки. Но тогда-то было, как говорится, не до жиру, а быть бы живу.

В полдень, рассказывает А. С. Чуянов, в обком партии заглянул член Военного Совета Н. С. Хрущев. Поздоровавшись, спросил:

– Заходил ли в обком партии командующий?

Получив отрицательный ответ, Хрущев молча ушел в особняк, отведенный для Военного Совета фронта. Через полчаса Никита Сергеевич, проявляя явное нетерпение, позвонил и опять спросил:

– Был ли в обкоме Тимошенко и если нет, то, может быть, известно обкому, где он находится?

Чуянов ответил:

– В обком партии командующий не заходил, а вот из Управления Нижне-Волжского пароходства сообщили, что недалеко от них на берегу Волги разместились кавалькада легковых автомашин. Там купается группа военных. Просили моторку.

– Вот и пойми его, – хмуро буркнул Хрущев, – запарился в дороге, сердешный... Ну хорошо, я найду через час. Если объявится Тимошенко, то пусть обождет меня в обкоме. Есть важный разговор.

Время склонялось за полдень, рассказывает Чуянов. Прошло более четырех часов, как машины командующего проследовали на Волгу. Хрущев несколько раз наведывался в обком партии. Около шестнадцати часов задержался у меня обозленный, потерявший равновесие. Ходил по кабинету и, то ли про себя, то ли для меня, громко возмущался:

– Как это называется?.. Командующий бросил фронт, разбросал весь свой штаб, то сидит в каком-то заброшенном саду, подвесив телефонный аппарат на яблоню, и воображает, что он в полевых условиях руководит жизнью на фронте. То вот теперь забрался в Волгу и сидит шестой час в воде, когда весь фронт разваливается... Какой же это командующий?! Он уже потерял все, что имел для того, чтобы быть командующим... Нет! С таким командующим мы потеряем все, а не только Сталинград...

Чуянов, конечно, понял наконец, что хрущевский гневный монолог (в рукописи он был отчеркнут простым карандашом и, очевидно, рукою уже помянутого осторожного редактора сделана пометка: «Зачем это?» – М. А.), что слова эти адресуются исключительно ему, первому секретарю обкома и члену ЦК партии. Произнесший их человек с хитроватым прищуром глаз призывал таким образом Чуянова в свидетели. Так, на всякий случай. Опытный обкомовец понял это и решил, что не должен молчать.

– Еще не все потеряно, Никита Сергеевич! Надо немедленно звонить в Ставку, в ЦК и рассказать об обстановке. Если вы это не сделаете, то сделаю я...

Хрущев так обрадовался, что не дал Чуянову договорить:

– Во-во! Звоните и немедленно, товарищ Чуянов. Вам это удобнее!

Нарваться сам на Сталина Никита Сергеевич поостерегся. Уж пусть это сделает другой человек. Ведь еще неизвестно, какою будет реакция Верховного. А что если Сталин ограничится лишь разносом и оставит все-таки Тимошенко командующим? Иосиф Виссарионович непредсказуем: это-то хорошо знал Хрущев. Потому и попросил еще настойчивее:

– Звоните сейчас же Сталину, товарищ Чуянов!

Перед тем, как поднять трубку аппарата «ВЧ», Чуянов сказал:

– Сдавать Сталинград врагу с вами или без вас мы не собираемся, – не посмотрев на своего гостя, набрал цифру «5». У аппарата оказался Маленков.

– Говорит Чуянов. Ко мне в обком партии прибыл Никита Сергеевич Хрущев, и мы бы хотели переговорить с товарищем Сталиным, – если б Чуянов в эту минуту глянул на Хрущева, то поразился бы мгновенной перемене на его лице: до этого – красное, почти пунцовое, сейчас оно сделалось мертвенно – бледным.

– А что у вас там? – спросил Маленков.

– Хотели поговорить о командующем. Обстановка требует его замены. Тимошенко надо дать отдых... Никита Сергеевич утверждает...

Хрущев подскочил на своем стуле и отчаянно замахал руками, пытаясь остановить секретаря обкома. Но Чуянов либо не заметил этого, либо сделал вид, что не замечает. Он продолжал, а Хрущев рухнул на стул, обхватив обреченно голову. На нее падали слова, тяжелее любого булыжника, вгоняя голову эту все глубже в плечи:

– ...Никита Сергеевич утверждает, что с Тимошенко они сдадут Сталинград врагу, что он уже выдохся...

Но оттуда, из далекой Москвы, которая вдруг оказалась убийственно близкой, звучали слова, которые могли бы смертельно ранить члена Военного Совета:

– Что за чепуха! Как можно в такой момент менять командующего? Вы что, с ума там сошли? Или у вас в запасе много командующих? У нас их нет... Дайте трубку Хрущеву... А Тимошенко вызовите в обком и дайте ему взбучку. Напомните ему, что идет война и сегодня не до отдыха!..

Чуянов передал трубку Хрущеву.

Обменялись приветствиями. Хрущев пошел ва-банк, напропалую:

– Я с таким командующим больше воевать не могу. Он роскошествует, когда... Подумать только, уже шесть часов купается в Волге и не проявляет никакого интереса к судьбе фронта. Я прошу – дайте мне нового командующего. Пусть не такого знаменитого, но такого, который мог бы хорошо воевать и руководить фронтом...

Маленков сухо перебил Хрущева:

– У нас нет в резерве командующих фронтом. Тимошенко может и должен воевать. Вызовите его в обком, – повторил Георгий Максимилианович, – и поставьте на свое место. О вашей просьбе я доложу товарищу Сталину.

Хрущев положил трубку, обронив потерянно:

– Нет, так воевать дальше невозможно...

Он ушел, оставив на душе Чуянова горькое, давящее чувство.

Когда велся этот тяжелый разговор Сталинграда с Москвой, наша 29-я стрелковая дивизия находилась еще под Тулой и только неделю позже начнет срочно погружаться в эшелоны, чтобы оказаться здесь, в раскаленной степи между Волгой и Доном. Он был не единственный, такой разговор в те грозные дни. Мы, разумеется, ничего не знали о нем. Но родиться он мог в атмосфере, исторгнувшей вскоре слова, заключенные в страшном приказе 00227, только что зачитанном нами в хуторе Генераловском, когда с запекшихся губ беззвучно слетал вопрос: «Почему?»

Наутро – бой. Для минометчиков он был первым. И, к счастью, очень удачным. Оборудовав за ночь огневые позиции на западном крутом берегу реки, мы смогли открыть огонь сразу же, как только впереди, в полутора километрах, показались неприятельские цепи. Было странно, непонятно и до слез обидно, что они высыпали там, где мы были еще вчера, где мы были всегда, были вечно, и это была наша степь, на тысячу лет своя!

Кто же им позволил врубиться так глубоко и нагло хозяйничать там, где хозяевами были опять-таки только мы и никто другой? Чужие солдаты, видно, настолько уверовали в свою непобедимость, что шли, рассыпавшись по голой, выжженной земле, в полный рост, почти вразвалку. И не сразу даже залегли, когда среди них начали рваться наши мины. Падали лишь те, коих сразили осколки. Видя такое, повеселевшие заряжающие выкрикивали: «Выстрел! Выстрел!» Особенно звонким был голос у Жамбуршина: для него, как и для всякого мальчишки, это было, пожалуй, еще и веселой игрой. И он кричал: «Выстрел! Выстрел!» Где-то впереди трескуче рвалась выпущенная им мина, где-то падали сраженные ее осколками враги, а он вот он, и все рядом с ним, и все были целы и невредимы.

– Выстрел! Выстрел!

Гулко ахали орудия Николая Савченко, шепелявя, снаряды проносились над головой минометчиков и рвались там же, где и наши мины. Солдат противника (то были румыны) уже не было видно; укрылись за обратным скатом пологой горы, оставив на поле десятка три убитых и раненых. Впрочем, кто из нас мог их посчитать? Разве что корреспондент из дивизионной крохотной газетенки с грозным названием «Советский богатырь». Вот он-то уж точно подсчитал. И у него получилось:

«Однажды большая группа румын просочилась в тыл нашей обороны. Сложилась серьезная обстановка. Взвод минометчиков повел бой с просочившейся группой румын. Превосходящий по численности враг был рассеян и частично уничтожен, а создавшаяся угроза ликвидирована... Меткой стрельбой минометчики не раз громили гитлеровцев. Только в одном бою они уничтожили более 500 солдат и офицеров противника, 3 автомашины с грузами, минбатарей и другие мелкие цели».

Что имелось в виду под «мелкими целями», Бог его знает.

В полдень комиссар полка Горшков вновь вызывал политработников, но уже для того, чтобы передать бойцам и командирам благодарность за успешный переход на новый боевой рубеж и первый бой на этом рубеже: враг действительно тут нигде не мог продвинуться хотя бы на сотню метров. Чуть позже выяснится, что ему и не нужно было продвигаться именно здесь...

Как бы, однако, ни было, но мы готовы были праздновать этот первый наш успех и первое же боевое крещение. Моя радость была усилена еще и тем, что на рассвете объявился со своим взводом лейтенант Усман Хальфин. Оказалось, что там, на Дону, его задержал командир полка майор Чхиквадзе, чтобы минометчики вместе с пехотинцами прикрывали отход остальных подразделений. По возвращении Хальфин успел даже оборудовать свои огневые позиции и принять участие в первом нашем бою на Аксае.



В самом великолепном расположении духа мы, то есть я и младший политрук, он же комиссар минометной батареи Иван Ахтырко, шли по дороге в сторону хутора Чикова из штаба полка, располагавшегося в глубокой балке в двух-трех километрах восточнее этого хутора. Где-то высоко в небе, не видимый нами, гудел немецкий истребитель. Я предложил своему другу: «Может, укроемся в кювете?» Не вынимая трубки изо рта, Иван процедил: «Это еще зачем? Что он – дурак, чтобы пикировать на нас двоих?..» Мне хоть и было стыдно перед отважным товарищем, но, на всякий случай, решил свалиться в кювет. «Береженого, Ваня, и Бог бережет!» – крикнул уже из укрытия. Он что-то послал по моему адресу насмешливое, но я не расслышал его слов, ибо они были погашены пулеметной очередью сверху и нарастающим воем пикирующего истребителя. По-видимому, Ивану показалось, что самолет удалился (его и вправду уже не было видно), но он лишь сделал заход со стороны солнца. В последний миг я успел заметить сверкающую строчку пуль, летящую книзу.

Иван лежал на дороге, рассеченный наискосок этой свинцовой строчкой<sup>5</sup>. Комиссарская трубка все еще была зажата плотно стиснутыми, побелевшими губами. Гимнастерка быстро намочала кровью там, где прошли пули. До минометной батареи я нес Ивана на руках. В своей роте появился весь окровавленный, страшно испугав минометчиков. А тремя днями позже сам чуть было не отправился вслед за Иваном Ахтырко...

Лейтенанту Виляеву вздумалось отвести минометную роту с западного на восточный берег Аксая. Река, мол, хоть и узковата, но все-таки она представляла собой какую-никакую, но водную преграду, которую преодолеть труднее, начини противник тут свое новое наступление. Не учел наш ротный стратег одного: восточный берег был отлогим, а западный крутым, откуда, приблизившись вплотную, противник мог обстреливать нас как хотел и из чего хотел.

Так оно, в общем, и случилось. На следующее утро на нас посыпались кирпичного цвета мины, выпускаемые из 49-миллиметровых минометов, подтянутых немцами, как и следовало ожидать, на расстояние не более ста метров от наших огневых позиций. Но это еще полбеды: навстречу немецким полетели наши мины, калибром покрупнее – у нас ведь были 82-миллиметровые. Так что вражеским пришлось скоренько уgomониться. Но мы не знали, что по береговой линии успели расположиться немецкие снайперы. В одну из ночей самый отчаянный из них выполз на кромку берега и затаился там. Он, конечно, видел перемещения моих минометчиков, продолжавших работы на огневых в открытую, даже не пригибаясь, – видел, но не стрелял. Чуть позже выяснилось, что он поджидал другой цели. Первой его жертвой мог оказаться как раз я, возвращавшийся среди бела дня из штаба полка в свою роту. Одна пуля просвистела где-то у самого виска, другая – срезала камышинку над моей головой, когда я успел упасть. Лежал минуты две не шелохнувшись. До укрытия оставалось шагов пятнадцать. И как только поднялся, чтобы сделать эти шаги, раздался следующий выстрел, пуля задела лишь мочку левого уха. Я вновь упал, раза два-три перевернулся, раскинул руки и ноги, симулируя убитого. Лежал так уже не две минуты, а не менее десяти. Теперь-то немец совершенно был уверен в том, что со мной покончено, и, может быть, даже отвлекся на что-то другое. Этого было достаточно, чтобы я двумя зигзагообразными скачками добежал до свежерытого окопа и плюхнулся в него. Отдышавшись, заорал что было мочи:

– Всем укрыться! Не высовываться! На том берегу снайперы!..

12 августа (на этот раз, слава Богу, ночью) снялись с Аксая и перебрались в район степного хуторка со странным названием Зеты. Тут неделю отдыхали. Приводили в порядок себя и материальную часть, подводили итоги не столько прошедших боев, сколько первого трагиче-

<sup>5</sup> До сих пор жалею, что не вынул из кармана Ивановой гимнастерки маленькую фотографию его жены и дочери. Мог ли я знать, что почти полвека спустя получу от этой дочери, уже немолодой женщины, письмо с просьбой рассказать подробнее о гибели ее отца?

ского перехода от Дона к Аксаю. Нашу полковую минометную роту Бог еще милует: ни единой потери. Как долго продлится эта Божеская милость, лишь один Спаситель и мог знать о том.

Где-то совсем близко глухо погромыхивала артиллерия.

На рассвете, 18 августа, опять бой. А до рассвета оставалось всего несколько часов. Я не знаю, могу ли рассказать обо всем, что было в эту ночь перед боем. В отличие от мирной степной ночи, эта была полна тревожной жизни, сплошного движения. Не слышалось обычного в такую пору беззаботного, полуночного птичьего бормотанья, не пролетала неслышно мохнатая сова в своей охоте за мелким зверем, не тьякала лиса, не скакал неведомо куда шальной заяц. Все эти степные обитатели перепуганы, убралась в дальние места и, наверное, где-то теперь безмолвно ропщут и плачутся за свою степь...

Минометчики порасчетно улеглись и расселись на подпаленной солнцем, хрустящей, пыльной траве. Тихо переговаривались. На пылающем горизонте отчетливо вырисовывались их силуэты. Никто не говорил о завтрашнем дне, хотя и видно было, что каждый всем существом жил в нем. Стараясь отпугнуть мысли о предстоящем бое за Абганерово, только что захваченное немцами, погружаемся в воспоминания.

Вспомнил своего брата Алексея. Это было 25 июня 1941 года в городе Сумы. Солнечный украинский день. Брат держал на руках годовалого сына – тоже Алексея. Тот ручонками своими обвил шею отца. Губы брата дрожали:

– Сынок... прощай, сынок...

Глаза же брата были хмельны и веселы. Он передал сына жене, а сам обнял меня, к тому времени тоже перебравшегося в этот неведомый до того мне славный городок на Псёле. Помнится, я не мог ничего сказать ему. А он, высокий, широкоплечий, с развевающимися на ветру белыми кудрями, горячий, обнимал меня, смеялся и плакал одновременно. Теперь же мысленно я пытался представить своего брата в бою. Где ты, Алексей, мой любимый брат Леха? Почему так долго не пишешь?

Мысли мои обрываются с приходом Усмана Хальфина и Дмитрия Зотова. Что-то им не сидится на своих местах. – Расскажи нам что-нибудь, товарищ политрук. За этими потянулись из темноты и другие. Я пересказал им случай, о котором прочел в центральной газете, кажется, в «Правде». В ней рассказывалось про девушку по имени Таня<sup>6</sup>, которая, будучи пойманная немцами, не выдала партизан, а потом погибла. Три дня висел ее труп. Затем фашисты сняли ее с виселицы, отрезали грудь, распороли живот и бросили в канаву, при этом успели еще сфотографироваться перед повешенной.

Мои товарищи долго молчали. Потом как-то все заговорили, и больше – о своих любимых. И опять – ни слова о предстоящем бое. Но мы, конечно, в душе-то думали, что вот через несколько часов, может быть, кого-то из нас не станет, кто-то из нас, возможно, упадет на колючую, горькую от полыни степь с простреленной грудью, кому-то из нас, может быть, уж никогда более не доведется увидеть любимую, родных, чей-то незрячий взор устремится в пустую даль, туда, на запад, откуда, из страшной враждебной страны, пришла к нему смерть...

Каждый, похоже, думал про то, но никто не высказывался вслух. Зачем?

Лейтенант Зотов рассказал, как он приходил в отпуск домой из госпиталя, после ранения, и его не узнала родная мать.

Мы еще долго молча сидели, думая каждый о своем, в ту тревожную августовскую ночь. Потом я встал и пошел к бойцам. Все они чистили минометы, карабины, делая это на ощупь, в темноте. Невольно вспомнилось лермонтовское: «Кто кивер чистил, весь избитый...»

Вскоре мы двинулись. Наша рота шла вместе со штабом полка. До рассвета еще полк должен занять исходные позиции, те самые, откуда батальоны двинутся на совхоз Юркина, под Абганерово, с тем, чтобы выбить немцев и из самой этой станции. Где-то рядом, мимо нас не

---

<sup>6</sup> Позже выяснилось, что это была Зоя Космодемьянская.

прошла, а промелькнула энергичная, стройная фигура. По резким жестам и по акценту я узнал в ней командира полка. Майор Чхиквадзе только что приехал от командира дивизии.

Ночь темная, безлунная. И если бы не зарево пожаров, движение войск было бы почти невозможным. Но темная ночь позволяла подойти к неприятелю незамеченными, скрытно.

Шли без всяких привалов. Иногда мне казалось, что бойцов моих нет рядом с повозками, что они потерялись во мраке. Но там, на немецкой стороне, взлетала ракета, и я вновь видел поблескивающие каски минометчиков. Они шли и шли, безмолвные и черные от сгустившейся, потяжелевшей в ночи пыли.

Майор шел со своим адъютантом Женей Смирновым.

Интересно, что должен был думать в такую минуту человек, в руках которого оказалось столько человеческих судеб? Вскоре к Чхиквадзе подошел комиссар полка Горшков.

– Ну как, комиссар, не опоздаем?

– Не должны бы... – не совсем уверенно ответил тот.

Майор тихо засмеялся.

– Не должны – это верно. А вот если опоздаем... Ты знаешь, Коля, что будет, если мы опоздаем?..

– Знаю, – глухо ответил Горшков.

Больше они уже не говорили. Мне было странно, что нашего комиссара. Кто-то может называть так просто – Коля.

Вспышки ракет были все ближе и ближе.

Полк достиг наконец исходного рубежа. В балках, немного впереди пушек, мы устанавливали свои минометы. Тракторы, автомашины, повозки уходили в укрытия.

18 августа в 5 часов утра наши начали артподготовку. Степь перед Абганерово содрогнулась от грохота. До этого я слышал о «катюшах», но никогда не видел их в действии и вообще не знал, как они выглядят в натуре: еще долго на войне это грозное оружие было окружено неким ореолом таинственности. И в ту ночь, по дороге от Зет к Абганерову, нас обгоняла колонна больших грузовиков, у коих вместо кузова было что-то неясное, плотно прикрытое толстым и несокрушимо плотным брезентом, заглянуть под который невозможно было, хотя и очень хотелось. Мы, разумеется, догадывались, что там скрывается. Позже, когда я наконец увидел, что же это такое, то даже был малость разочарован: самые что ни на есть обыкновенные рельсы, соединенные между собою и поставленные под углом сразу же за кабиной грузовика марки «ЗИС-5», а затем в основном «студебеккеров».

18-го же августа, когда позади нас что-то с чудовищным скрежетом зашипело, я невольно втянул голову в плечи. Сообразив, что бы это значило, я оглянулся и был потрясен величественным и грозным зрелищем. Было такое впечатление, будто несколько степных китов выплыли из мрака, выстроились в ряд и стали одновременно выпускать в небо огненные фонтаны. Когда эти чудища перестали шипеть и скрежетать, степь огласилась восторженными криками наших минометчиков:

– «Катюша»! «Катюша»! Давай, милая! Дави, жги гадов!..

Потом не менее страшное зрелище поразило нас: на добрый километр в ширину, над всем совхозом Юркина, что под Абганерово, заплясали огненные смерчи, и казалось, сам поселок подскакивал в бешеной безумной пляске.

Это рвались термитные снаряды «катюш». Вероятно, точнее было бы назвать их минами. В тот же день мы узнали, что у этих самых легендарных «катюш» есть другое имя, родственное и льстившее нам: гвардейские минометы. Наивные, мы думали, что там, где рвались выпущенные ими громовержские снаряды и где все пространство окинулось огнем, а затем почернело, обуглилось, не останется ни одной живой души. То, что мы, минометчики, укрывшиеся в балке и находившиеся пока что в резерве у командира полка, так подумали, – это еще ничего. Хуже, что так же, видать, думали и пехотинцы. Они сближались с противником не короткими, как

полагалось, перебежками, а в полный рост, стараясь как можно быстрее достигнуть вражеского рубежа. И, верно, в горьком удивлении падали, сраженные кинжальным, яростным огнем немцев. Повсюду был слышен сплошной лай автоматического оружия. Над нашими позициями тотчас же повисла «рама» – уже знакомый нам двухфюзеляжный «Фокке-Вульф-189». «Рама» сделала несколько кругов, сбросив четыре бомбы, улетела. Через несколько минут (где ж был их аэродром? Неужто совсем рядом?) около двадцати немецких пикировщиков появились над нашими передовыми батальонами. Они пикировали почти до самой земли, бросали сразу по десятку бомб и взмывали вверх, чтобы вновь и вновь, включив сирену, спикировать на советских бойцов.

За поселком совхоза Юркина что-то два раза противно скрипнуло, прогрохотало, утробно проскрежетало, точно два огромных листа ржавого железа потерлись друг о друга, и в боевых порядках залегшей наконец нашей пехоты стали рваться мины страшной разрушительной силы. Это заговорил еще неведомый нам немецкий шестиствольный миномет, или «ванюша», как называли его позже красноармейцы: судя по всему, немцы изобрели его в противовес нашей «катюше».

Майор Чхиквадзе стоял на возвышении, по грудь в наспех вырытом окопе, и только на короткое время отрывался от бинокля, чтобы сделать новое распоряжение. Рядом с ним были телефоны. От них в разные стороны расползались по земле провода.

– Рыков? – спрашивал майор командира первого батальона. – Докладывай обстановку... Что?.. Залегли?.. Что-что? Фриц огнем поливает? А ты что думал, он тебя одеколоном будет поливать?.. Подымай бойцов!.. В контратаку?.. Отбили?.. Так! Даю тебе еще минометчиков...

«Контратака», «отбили» – только два слова. А что там было?!

Непрекращающийся ливень огня, бесконечная бомбежка с воздуха понудили наши роты залечь прямо на открытой местности, где нет ни кустика, ни бугорка. И в это время поднялись они. О, как же их много! И как могли они, похоже, чуть ли не все до единого, уцелеть под адовым «катюшиным» огнем?.. И почему не последовало новых залпов, когда немцы поднялись в полный рост и в свою очередь оказались прекрасной мишенью?.. Высунулся из укрытия и посмотрел на то место, где только что стояли гвардейские минометы, но «катюш» там уже не было, их, что называется, и след простыл. И убралась она вовремя: перелетая через нас, немецкие снаряды падали и рвались как раз там, откуда посылали свои огнехвостые, длиннющие миноснаряды «катюши». Я не знал в ту пору, что это была их обычная манера поведения, или, сказать по-военному, тактика – дать залп и моментально смываться, чтобы через каких-нибудь пять – десять минут самим не оказаться под губительным вражеским огнем, – с осени сорок первого немцы вели настоящую охоту за «сталинскими органами», как окрестили они наше сравнительно недавно введенное в бой реактивное оружие.

Как бы там ни было, но было обидно, что «катюши» исчезли, как бы растворившись в степи, в то время, когда они были бы очень нужны. Теперь нашим пехотинцам и пулеметчикам пришлось вести огонь одним. Огонь этот оказался неожиданно очень плотным. Наткнувшись на него, немцы теперь сами залегли.

Наша рота получила приказ выйти на поддержку первому батальону (недолго же она находилась в резерве!). Предстояло преодолеть полосу массированного минометно-артиллерийского огня, которую создал противник, стремясь не допустить к нашим пехотным подразделениям подкрепления и повозки с боеприпасами.

Решили двигаться порасчетно, из балки в балку, открытые места преодолевать бегом с минометами.

Первый расчет начал движение. Как только прогрохотали разрывы, бойцы побежали вперед, не дожидаясь, когда рассеется дым. Этот маневр удался.

Через двадцать минут расчеты благополучно достигли намеченных позиций, где минометчикам суждено было в течение десяти дней и ночей вести самый, может быть, жестокий бой.

Вскоре рота уже вела огонь. Но как она его вела?

Огневые позиции минометчиков (исключая разве что 50-миллиметровые, ротные, минометы), как правило, располагались в малых, больших ли укрытиях, здесь же, между Доном и Волгой, в оврагах и овражках, то есть в балках, как их тут называют, которых в донской степи великое множество. Вот в одной из таких балок и расположились расчеты нашей минометной роты. Но противника-то отсюда не увидишь, а по нему надобно вести прицельный огонь. Кто же и как же им должен управлять, этим огнем? Разумеется, командир роты. Для этого его наблюдательный пункт, НП, находится наверху, за балкой, метрах в пятидесяти или того больше от огневых позиций минометчиков, чаще всего в боевых порядках пехотинцев и пулеметчиков. Даже в полной тишине на таком расстоянии голоса командира, указывающего прицел, расчетам не слышать. А отделения связи, хотя бы из двух бойцов-телефонистов и соответственно двух аппаратов, штатным расписанием минометной роты не предусмотрено. Нелепость такого положения вещей стала для нас очевидной еще на Аксае, у хутора Чикова, когда пришлось вести огонь по румынам. Уже тогда от наблюдательного пункта до огневых мы выстраивали цепочку бойцов, которые, получив команду от ротного, передавали ее на огневые расчеты. В горячке боя, в грохоте разрывов, команда эта нередко перевиралась, доходила до минометчиков искаженной, и мины летели не туда, куда бы им следовало лететь. Командир видел это, хватался за голову и матерился на чем свет стоит, проклинал Генеральный штаб, в дремучих недрах коего, в каком-то отделе, некие «светлые» головы денно и нощно корпели над штатным расписанием различных родов войск.

И все-таки рота вела огонь. Вероятно, он не был столь эффективным, каким бы мог быть. Но противник был наглухо прибит к земле и до следующего утра не поднимал головы.

Ночью мы лежали в пологой балке, прямо под открытым небом с заместителем командира роты лейтенантом Гайдуком (наш ротный, лейтенант Виляев, еще накануне заболел и был отправлен сперва в полковую санроту, а оттуда – в медсанбат). Было темно и тепло. Натянув поплотнее каску, я собирался заснуть. Но Гайдук не давал. Вздумалось, дьяволу, рассказать про то, что ему якобы недавно приснилось. Теперь постараюсь припомнить его рассказ. Иначе никто уже и никогда не узнает, что там такое снилось нашему милому другу Гайдуку, доброму хлопцу из Донбасса.

Видел же он вроде бы жену и даже, уверял, слышал ее голос. Будто склонилась она над колыбелью и тихо так напевает сыну: «Спи, мой крошка, спи прекрасный, баюшки-баю. Уж не светит месяц ясный в колыбель твою». Гайдук будто бы широко раскрыл глаза, поглядел на прикорнувших рядом минометчиков, потом снова заснул и снова вроде бы услышал голос жены:

«Много детских слез пролито по стране родной. Подрастешь, узнаешь это, славный мальчик мой. Подрастешь – и ты полюбишь Родину свою. А пока ты крошечкой будешь, баюшки-баю. Богатырь ты будешь с виду и широк душой. Никому не дашь в обиду Родины покой». Тут Сережа якобы проснулся, быстро вскочил на ноги, несколько раз моргнул: «Фу, черт, вот диковина!» И тут, говорит, догадался: то был не голос жены, а надрывный, прерывающийся звук ночного бомбардировщика «Хенкель-111» где-то в беззвездной вышине.

– Сережа, – попросил я, – признайся, все это ты сам сочинил? Скажи – сам? У Лермонтова позаимствовал, колыбельную-то?

Гайдук промолчал.

– Ну ладно, Сережа, можешь не отвечать. Только у Михаила Юрьевича...

– Скажешь, ловчее моего вышло? Я и сам знаю. Ну, и шо с того?..

Теперь промолчал уже я. Вынул из планшетки тетрадку и записал колыбельную в гайдуковском варианте. Потом натянул каску так-то уж демонстративно, что Гайдук все понял и отошел от меня. А на другой день он погиб.

Случилось это так.

Перед рассветом старшина привез нам обед с тем, чтобы мы еще затемно поели, и затемно же он бы успел вернуться в расположение полковых тылов. На этот раз старшина привез по сто граммов водки. Не успели бойцы выпить, как в мутном предрассветном небе зарокотали моторы. Теперь уже около полусотни едва видимых «юнкерсов» темным облаком наплывали на наши позиции. Два десятка «Ю-87» выстроились в обычную свою колонну по одному и стали пикировать на огневые позиции минометчиков.

– По окопам! – крикнул я.

Лейтенант Гайдук, младший сержант Кучер и рядовой Давискиба, наш ротный соловейко, черноокий и смуглолицый парубок, кажется, с Харьковщины, упали в щель, которая была от них поблизости. «Юнкерс» устремился на них.

– Сережа! Гайдук!.. Берегись! – заорал я, но было уже поздно.

Одна бомба упала прямо в окоп. Кто-то крикнул раздирающим душу голосом:

– Лейтенант Гайдук погиб!

Я выскочил из своего окопа.

Окровавленные, смешанные с землей куски тел наших товарищей были раскиданы на месте взрыва. При виде этого кровавого месива (он увидел такое впервые в своей короткой жизни) сошел с ума наш степнячок, красноармеец из Северного Казахстана Жамбуршин. Печальная, хватающая за горло картина. Он сидел возле своего миномета, на огневой, и, сложив руки перед собой, жалобно тянул: «Аллах, Аллах...»

Минометчики собрали куски тел погибших, еще теплые, зыбкие в руках, сложили в воронку от бомбы. Насыпали небольшой курганчик. Сняли каски и так, молча, постояли немного над первой нашей могилой. К несчастью, она была далеко не последней, та могила.

Во время сбора кусков разорванных тел сержант Гужавин обнаружил наган Гайдука. Он хоть и был изуродован, но Гужавин оставил его при себе. Как память о хорошем человеке и своем начальнике.

Все три стрелковых полка нашей дивизии уже были введены в бой, волна за волной пехотинцы подымались в атаку и волна за волной падали под огнем, который на военном языке называется кинжальным. Тут бы и должно прибавить: наши бойцы то и дело переходили в штыковую. Но таковой не было, поскольку в ней не было и никакой необходимости: огонь с той и с этой стороны был так плотен, что сквозь него совершенно нельзя сблизиться для рукопашной. К тому же пулеметы, винтовки, карабины, автоматы и гранаты исполняли свое кровавое дело вернее любого штыка, плоского ли, как у немцев, трехгранного ли, как у нас. Пробравшись по-пластунски к наблюдательному пункту, на небольшой бугорок, откуда управлял огнем минометов Усман Хальфин, я взял у него бинокль и оглядел пространство, над которым шла непрерывная пальба, – и ужаснулся: черное, выжженное «катюшами» и немецкими шестиствольными поле было сплошь усеяно телами. И не разобрать – чьих было больше, наших или немецких. Часом раньше видел, как по балке, где находились огневые позиции минометной роты, бесконечной, непрерывной вереницей тянулись раненые. Некоторые из них наспех перевязаны, видимо, самими страдальцами, воспользовавшимися наконец индивидуальными пакетами. Грязь и кровь, перемешавшись, сделали эти повязки темно-бурыми, такими же были и лица людей, только что вырвавшихся из ада кромешного и еще не вполне поверивших в свое спасение. Большую же часть, бежавшую и ковылявшую теперь по балке, не успели даже перевязать, кровь еще не запеклась, а струилась по грязным, сумрачным, озлобленно-ожесточенным, чаще же отрешенным ото всего лицам; свежая, живая кровь просачивалась сквозь вылинявшие, из зеленых ставшие белыми и оттого еще более заметно грязные гимнастерки и брюки.

В тот час в голове невольно мелькнуло: «А где же убитые? Неужто оставлены там, на опаленном, черном поле?» А теперь собственными глазами увидел: там и есть. Вернувшись от Хальфина (он стал моим заместителем, а мне же пришлось взять на себя обязанности командира роты, оставаясь по-прежнему ее политруком), я заглянул в блиндаж, оборудованный по

соседству с моим. В нем находились еще два политрука, два моих друга: Николай Соколов и Василий Зебницкий. Они только что приползли в свое убежище, воспользовавшись коротким затишьем на поле боя. И обоим трудно было узнать: добротной выправки, веселого, уверенного в себе Соколова как не бывало; Зебницкий же выглядел совершенно убитым: от его роты, перед введением ее в бой насчитывавшей 150 человек, теперь осталось едва ли десятка полтора; каких-нибудь полчаса назад он, поднявшись во весь рост и неуклюже размахивая револьвером, кричал что-то, пытаясь поднять в очередную атаку этот жалкий остаток, но его либо никто не слышал в грохоте разрывов мин и снарядов, в трескотне пулеметной, либо делал вид, что не слышит, но так или иначе, но никто не поднимался и не закричал вслед за ним «ура». И бедному политруку Зебницкому ничего не оставалось, как тоже упасть и прижаться дрожащим в горячем ознобе телом к родимой земле, единственно способной на какое-то время удержать в этом дрожащем теле жизнь. Кажется, Василий и сейчас еще не победил в себе этой дрожи, и мое появление не могло оживить его, он даже не поздоровался со мною, а, забившись в самый темный угол сотрясающейся от близких бомбовых разрывов землянки, скорчился там и смотрел оттуда на меня чужими, озлобленно-ожесточенными глазами, точно такими же, какими глядели на нас находящиеся под защитой довольно глубокой балки раненые пехотинцы. На мой вопрос, что с ним, почему молчит, Зебницкий как-то криво, нехорошо улыбнулся и почти одним рывком выскочил из блиндажа.

– Куда это он? – вырвалось у меня.

Соколов с тяжким придыханием ответил:

– Известно – куда. Подымать в атаку. Такова уж доля политрука стрелковой роты. Мне, пулеметчику, и то немножечко лучше. Я не подымался первым и не кричал: «Вперед! За мной!..» А он, Василий, за один лишь неполный день пять раз подымался, наорался до хрипоты. Потому, видно, и сидел молча, как сыч. Так что ты на него не обижайся. Закурить не осталось ли?..

– Да я же не курю.

– А-а-а. А я забыл. Извини.

– Как твоя, пулеметная?

– Осталось три отделения...

– Что-что?! Три, значит, пулемета? – во рту у меня тотчас же запеклось.

– Три «максима». Правда, еще два ручных, дегтярят.

– И все?

– Все, Михаил, все... Ну, брат, мне пора. Пойду. А ты скажи своим, чтобы поточнее кидали свои игрушки. Давеча одна мина разорвалась в двух метрах от нашего станкача.

– Может, немецкая?

– Нет, нет, дорогой. Твоя!

– Не может быть! – вырвалось у меня, но я почувствовал, что весь окинулся жаром, понял, что Соколов говорил правду, а я отпираюсь зря: вот чем оборачивается живая цепочка, по которой Усман Хальфин передавал команды нашим минометным расчетам.

Вернувшись к себе и убедившись, что от только что отбомбившейся новой волны «юнкеров» и «фоккеров» никто не пострадал, я вновь стал смотреть на дно балки, по которой продолжалось скорбное, похожее на похоронное, движение. Теперь оно было двухсторонним. Навстречу изувеченным людям шли здоровые, в новых зеленых касках, с новыми противогазами, с винтовками и карабинами за плечами, но почти с такими же нахмуренными, пасмурными лицами, сумрачно-молчаливые, те, что через какой-нибудь час или даже менее того присоединятся (и только самые счастливые из них) к окропленной свежей кровью колонне. Впереди быстро двигавшейся стрелковой роты я увидел еще одного дружка, младшего политрука Сергея Алексеева, своего однофамильца. Он увидел меня и на ходу прокричал:

– Вот... веду, Михаил, очередную порцию пушечного мяса! – и захохотал как сумасшедший: – Ха-ха-ха! Прощай, друг!

Сердце мое сжалось. Под ложечкой заглохало. «Что он говорит?! Да как же он может такое... вслух... перед своими бойцами?.. Это... это же преступление!.. За это... за это...»

Я не довел своей мысли до конца... что там полагалось «за это». И злость, и ужас, и жалость к юному политруку и к тем, кто шел сейчас за ним, и невозможность как-то переубедить, отпугнуть от него страшное предчувствие, – все смешалось, свернулось, спеклось в один ком и заслонило дыхание. Ноги сами пронесли меня какую-то сотню метров вслед за уходящей ротой, но я задохнулся и застыл на месте. Стоял так, пока не очнулся от другой, не менее печальной встречи. В цепочке раненых увидел знакомую, некогда подвижную, бравирующую, а теперь понурившуюся фигуру пэтээровского командира... Голова его была забинтована чуть ли не вместе с глазами, потому что глаз этих я не видел. Зато во рту блеснул золотой зуб, но он не оживлял, как прежде, его некогда веселого, озорного мальчишески беспечного лица, а вместе с другими «природными» натуральными зубами напоминал волчий оскал. Я что-то крикнул ему, но пэтээровец как-то безнадежно махнул рукой, постарался побыстрее пронести мимо меня свою перебинтованную, белую от марли, соколиную голову.

Ну а что же с первым батальоном капитана Рыкова, на поддержку и прикрытие которого была в спешном порядке отправлена наша полковая минометная рота? Ему так и не удалось достичь даже окраины совхозного поселка Юркина. Метрах в трехстах от этого поселка и в двух километрах от станции Абганерово проходило теперь кровавое противостояние. Попеременно подымались в атаку то наши, то немецкие роты, но ни тем, ни другим не удавалось продвинуться хотя бы на полсотню метров: плотная, невидимая глазу стена огня сперва останавливала, затем принуждала падать на землю (иных навсегда) что-то вначале кричавших и вдруг умолкших людей, кои ничего не должны были делать, кроме того, что убивать друг друга. И они убивали, не испытывая при этом ни малейшей радости при виде убитых ими противников. Да было ли у них время, чтобы увидеть и испытать что-то другое, помимо смертельно-жгучего желания самому уцелеть?

Не знаю уж, о чем думал комиссар первого батальона старший политрук Барышев, которого я неожиданно увидел поднявшимся над залегшими бойцами. Высоченный, с черными, сросшимися над переносьем бровями, он был страшен, когда разгневался, и чрезвычайно доступен и добр, когда улыбнется и обнажит ровные полукружья своих белых с выщербинкой зубов. Когда мы, политработники, собирались вместе и когда Барышев, по своему обыкновению, большей частью молчал и внешне был угрюм и недоступен, мы инстинктивно делали все, чтобы заставить его улыбнуться. И когда нам это удавалось, все вокруг обливалось каким-то добрым, радостным светом, как бывает в минуту неожиданно проглянувшего из-за облака солнечного луча. И вот теперь Барышев появился среди прижатого к земле своего поредевшего воинства. То была рота, только что пришедшая сюда и наступавшая (скорее топтавшаяся на месте) на самом левом фланге 106-го стрелкового полка. Политрук этой роты Сергей Алексеев лежал где-то тут рядом, но он был убит тотчас же, как только вывел красноармейцев на линию огня. Барышев не успел увидеть его, потому что сам услышал короткий резкий удар в голову. Верно, он не совсем еще понимал, что с ним стряслось. Успел добежать до окопа, в котором находился вместе с телефонистом командир роты, выхватил из рук связиста трубку, крикнул перед удивленным бойцом и ротным командиром:

– Рыков, я убит!

И упал на дно окопа. Из головы короткими толчками выплескивалась кровь. Теперь Барышев смотрел на телефониста и его начальника широко раскрытыми, неподвижными, залитыми кровью глазами. В полуоткрытом рту виднелись подковы прекрасных зубов, но они не блестели, не светились, хотя на припухлых, слегка вывернутых губах застыло подобие улыбки.



В это же время майор Чхиквадзе вызвал к себе начальника связи полка лейтенанта Дашенко.

– Почему нет связи с полковой минометной ротой?

– У нее нет телефона.

– Что-что?! Как это... нет?

– Нет, товарищ майор. Не предусмотрено по штату...

– Какого же х..., какого же черта ты молчал, не сообщил мне об этом раньше?.. Ну а почему нет связи с первым батальоном?

– Не знаю, товарищ майор. Очевидно, порывы...

– Немедленно устранить!

– Товарищ майор, люди все вышли из строя...

Майор долго смотрел в глаза лейтенанта.

– Дашенко, мне нужна связь. Понятно?

– Понятно, товарищ майор.

– Идите.

...Дашенко, длинный и сухой как жердь, полз и полз вперед. Осколок мины ударил его в плечо. Он только поморщился и продолжал ползти. «Вот они», – прошептал для себя. Затем взял два конца и дрожащими пальцами, преодолевая нестерпимую боль в плече, связал их. Не соединил зубами, как, по описанию какого-то журналиста, сделал другой связист в каком-то другом месте и другом бою, а просто взял и связал хоть и дрожащими, но все-таки пальцами.

«Ну, вот... хорошо», – должно быть, подумал Дашенко, но в это время два осколка от разорвавшейся поблизости немецкой мины впились в его спину. Не имея возможности ни подняться, ни перевязать себя, Дашенко поволок по-пластунски свое длинное, побитое в разных местах тело в обратную сторону. Но об этом не знал и не мог знать командир полка майор Чхиквадзе, как и про то, что десятью днями позже полк его будет почти без всякого боя на три четверти уничтожен, а сам он вместе со своим комиссаром Горшковым окажется в немецком плену<sup>7</sup>. Теперь же он вновь разговаривал с командиром первого батальона Рыковым. Не разговаривал, разумеется, а кричал на капитана, который хотел, но никак уж не мог поднять бойцов в новую атаку. Те же сделали все, что могли сделать: прилипли, прямо-таки прикипели к земле лишь после того, как заставили врага чуть раньше сделать то же самое. Какою ценою, другой вопрос. О ней со страшной убедительностью могли бы рассказать вон те, что в разных позах, predetermined короткой предсмертной судорогой, валялись впереди и позади их пока что уцелевших и пока что живых товарищей, прижавшихся к выжженной, полынно-горькой и солоноватой от крови земле.

А когда сгустились сумерки и ожесточение боя пошло на убыль, в нашу полковую минометную роту пробрались два бойца с двумя телефонными аппаратами, к неопишуемой радости Усмана Хальфина, которому в основном и приходилось управлять огнем. И мы не знали тогда, что на этом рубеже дивизия будет держаться еще целых десять длинных-преддлинных дней, похожих один на другой, как похожи одна на другую две нестерпимо горькие капли, ежели бы взять их из озера Баскунчак, находившегося не так уж далеко отсюда.

Каждый из этих дней и каждая из этих ночей проходили, казалось, по одному строго выдерживавшемуся расписанию, вроде бы согласованному между воюющими сторонами.

Начинали немцы. Вместе с восходом солнца, ровно в 5.00, появлялась хорошо знакомая нам «рама». Она выплывала медленно, важно, даже как-то вальяжно, не торопясь. Подсвеченная снизу первыми солнечными лучами, особенно яркими в степи, эта летучая баба-яга выглядела совсем добродушной, безобидной и даже веселой. Ее непринужденное, свободное

---

<sup>7</sup> Много-много лет спустя кто-то рассказывал мне, что по пути от Абганерова до Котельникова Горшков на полном ходу поезда, увозившего советских пленных, выскочил из вагона и разбился насмерть. Это похоже на правду.

плавание в солнечной купели как бы говорило нам: чего же, зачем же бояться меня, видите, какая я добрая, я и прилетела-то лишь для того, чтобы поздравить вас с добрым утром; покружусь вот немного над вами, ну, сброшу две парочки бомб, разве что для утренней побудки, да и улечу с Богом. Оно и вправду: сама-то по себе «рама» была не страшна для нас, ее обязательные четыре стокилограммовые бомбы, сброшенные где попало и как попало, не приносили урона ни нашей «живой силе», ни боевой технике. Но ведь она, ведьма, была разведчицей, а нередко и наводчицей, корректировщицей огня дальнобойных немецких орудий. Прежде чем убраться за кромку горизонта, за окоем, «рама» успевала дать необходимые сведения для эскадрилий своих пикирующих бомбардировщиков и истребителей, в особенности до тошноты опостылевших нам «Юнкерсов-87», не убирающиеся шасси которых напоминали когтистые лапы гигантских пернатых хищников. Бравирюя, не боясь, точнее, не опасаясь ни наших зениток, ни наших самолетов, поскольку ни тех, ни других за все эти десять дней и ночей не было ни слышно, ни видно, немецкие пилоты позволяли себе гнать свои ревушие и отвратительно воющие аппараты чуть ли не до самой земли; мы, случалось, даже видели их нахальные рожи, их рты, ослабившиеся в торжествующе-издевательской ухмылке; до чего же муторно и горько было от сознания своей беспомощности и незащитности, от очевидности того, что наши винтовочные выстрелы не только не приносили врагу вреда, но делали его еще наглее и нахальнее. Мы знали, что по названному выше «расписанию» пикировщики сделают над нами пять заходов, по-немецки точно рассчитав количество боеприпасов, и улетят все-таки не прежде, чем совершат на нас еще одну атаку, названную нами самими «психической», то есть пока не сбросят свои продырявленные железные бочки и по-змеиному изогнутые рельсы, наводящие смертельный ужас на тех, кто услышал их визг и вой впервые. Но, видно, не зря говорится: человек ко всему привыкает. Сравнительно быстро привыкли и мы к такого рода шумовому сопровождению немецких бомбардировок. Боялись, конечно. Но не этих свистящих бочек и рельс, а бомб, тех, в первую очередь, которые нацеливались на огневые позиции, – их почти невозможно было замаскировать на склоне балки, где не было ни единого кустика; не было у нас и маскировочных сеток (и они не предусмотрены штатным расписанием!) – полынь и бурьян в несколько часов высыхали и, ставши из белесых и бурых огненно-рыжими, не маскировали, а скорее выдавали наше месторасположение. Можно было самим-то нам попрятаться в маленьких окопах и блиндажах, вырытых немного в стороне от огневых позиций, но мы не могли этого сделать, потому как знали, что одновременно с воздушной атакой начнется вражеская атака и наземная, то есть немцы опять (в какой уж раз!) попытаются отбросить нас на исходный рубеж. И чтобы отбить и эту атаку или контратаку (тут уж трудно было понять, кто атакует и кто контратакует), артиллеристы и минометчики должны вести интенсивный огонь, в котором наша пехота испытывала в таких случаях крайнюю нужду. Может быть, это к лучшему для минометчиков: занятые у своих «труб», оглушаемые близкими взрывами бомб и истошными криками заряжающих «выстрел! выстрел!», они как бы забывали о поминутно грозящей им опасности, как забывают о чем-либо другом люди, занятые одним серьезным делом. А погибнуть минометчики могли не только от вражеских бомбардировщиков, но и от собственной оплошности: увлеченный горячкой боя, заряжающий мог не услышать собственного голоса, отмечающего каждое опускание мины в ствол, и сунуть туда другую, не дав вылететь первой. Встретившись в трубе и разорвавшись там, они разнесут ее на мелкие куски, поранив или убив если не весь расчет, то какую-то его часть, – это произошло уже в одной из соседних с нашей батальонных минометных рот. Там были убиты осколками собственных мин и минометной трубы наводчик и заряжающий, оказавшиеся жертвой роковой ошибки последнего: еще три человека были ранены. Помня об этом, в общем-то, несчастном случае, командиры расчетов всякий раз, перед тем как открывать огонь, строжайше предупреждали заряжающих, чтобы они ни на миг не забывались и посылали тотчас же вслед за вылетевшей миной свой предупреждающий выкрик: «Выстрел!» Предупреждающий не кого-нибудь еще, а самого себя

(другие-то могут его и не услышать). Такова первая заповедь заряжающего, его альфа и омега. Все, казалось бы, знали про то. Однако ж сержант Гужавин, самый после Усмана Хальфина опытный минометчик, вновь и вновь предупреждал Жамбуршина, Николая Сараева, Николая Светличного и других бойцов, исполнявших обязанности заряжающих, чтобы они всегда держали в уме эту неукоснительную для них заповедь.

С удалением своих бомбовозов и истребителей-пикировщиков немцы прекращали атаки и на земле, успев отойти и занять прежние позиции, где у них были и пулеметы, и легкие пушки, и шагах в пятистах шестиствольные реактивные минометы, которые плотным огнем ставили стену перед нашей пехотой, которая пыталась одним рывком, как говорится, на плечах противника ворваться в его окопы. Но такое удавалось очень редко. С наблюдательного пункта Хальфина, оборудованного чуть позади переднего края, было хорошо видно, как поднявшиеся в атаку наши бойцы успевали сделать не более десяти шагов и тут же падали, уложенные напрочно почти на том же месте, на котором поднялись. Жиденькое их «ура» сейчас же угасало, да слышал ли его кто-нибудь в трескотне пулеметов и автоматов, в скрипуче-ржавом реве шестиствольных, в грохоте разрывов мин и снарядов? Нашей матушке-пехоте ничего не оставалось, как прочертить ободранными носами обратный путь к своим окопам – не окопам даже, а неглубоким ямкам, наспех, кое-как отрытым в каменно-жесткой земле малыми саперными лопатами, ценимыми тут ничуть не меньше винтовок и автоматов: в условиях голой, выжженной степи потеря этого простейшего, немудреного инструмента могла стоить пехотинцу жизни (сколько раз приходил мне на память постыдный момент, когда при отходе от Дона лейтенант Виляев буквально выхватил из рук сержанта Гужавина эту самую малую, чтобы выдолбить для себя ямку).

Когда волны атакующих и контратакующих откатывались назад, как бы возвращались в свои берега, для нас, минометчиков, наступал короткий и желанный до крайности момент передышки. Раскаленные почти докрасна и солнцем, и собственным огнем минометные трубы немного остывали; расчеты подправляли обвалившиеся и полуобвалившиеся от близких разрывов бомб стенки огневых позиций и блиндажей, стряхивали пыль с волос, гимнастеров, брюк и пилюток, промачивали горло водой, успевшей стать горячей в зачехленных и в особенности незачехленных флягах (последних, к сожалению, было в два раза больше), – именно лишь промачивали гортань, и только, потому что утолить жажду такой водой невозможно. Впрочем, старшина нашей роты отыскал в своей памяти бывалого солдата, участника Первой мировой войны, верный способ, коий позволял ежели и не утолить вовсе, то хотя бы немного уменьшить жажду в боевых условиях. Всем нам, рядовым и командирам, этот неунывающий хлопотун выдавал по ломтю черного хлеба, густо посоленному крупной, почти такой же черной, как хлеб, солью и приказывал есть. Было это перед рассветом, еще затемно, когда старик (старшине едва ли исполнилось сорок пять, но для нас он был старик) привозил нам еду на своей «индивидуальной» повозке и на паре своих, тоже «индивидуальных», как он говорил, монгольских, необыкновенно выносливых лошадок, полученных нами еще в Акмолинске при формировании дивизии (тут нелишне заметить, что все полки нашей 29-й стрелковой были обеспечены такими вот добрыми коньками-горбунками, присланными из Монголии, – лучших и нельзя было придумать для донских степей, в которых нам пришлось теперь воевать). Сдобренный такой порцией соли, кусок хлеба с великим трудом протискивался в глотку, рот отчаянно сопротивлялся ему, но на подмогу этому жесткому куску приходили легендарные сто грамм, выдаваемые каждому бойцу ежедневно с начала вступления дивизии в бой. Ну, а после глотка такого напитка не только хлеб, но что угодно могло бы играючи, радостно проскочить в солдатский желудок. Я, конечно, догадывался, что сам-то Кузьмич (так все мы звали своего старшину) не ограничивался ста граммами, хотя из положенного нашей роте не брал для себя ни капельки лишней. В этом у него не было решительно никакой нужды: поддерживая тесные связи с тыловой братией, он мог раздобыть спиртное и в другом месте, и нам, грешным, кое-

что перепадало сверх нормы от нашего добытчика. От Кузьмина всегда пахло водчонкой, но мы с Усманом Хальфиным мирились с таким грешком старшины, поскольку свои обязанности он и знал хорошо, а исполнял и того лучше: в невероятно тяжких условиях тут, под Абганерово, когда и пробраться-то в расположение роты было почти невозможно даже ночью (немцы непрерывно пускали осветительные ракеты, развешивали со своих самолетов большие «паникадилы», так что вокруг далеко все было видно, как днем), Кузьмич умудрялся кормить нас горячей пищей не только поздней ночью и ранним утром, но и посредине дня. Худенький, давно не бритый, он пробирался к нам по балкам, которых тут великое множество, там и сям перекрещивающимся друг с другом и продолжающим одна другую и так перепутывавшимся, что надобно быть хорошим разведчиком-следопытом, чтоб разобраться и найти нужную тебе дорогу в таком лабиринте. Сгибаясь до самой земли под тяжеленнейшим термосом с кашей, со щами ли, Кузьмич появлялся в один и тот же час все эти десять дней, протискивался в просторный блиндаж, служивший для него и складом, и столовой, сбрасывал свою ношу и тут же падал на землю, чтобы немного отдышаться. Потом начиналось священнодействие. Видя, как повеселевшие минометчики уплетают еду, Кузьмич шурился в самом добром расположении духа и покуривал. Но даже махорочный дымок не мог пригасить другой запах, как бы постоянно живший в этом человеке. Как-то я спросил: «Кузьмич, а совершенно трезвым, не выпивши ты когда-нибудь бываешь?» Кузьмич самую малость подумал и ответил: «Как вам сказать, товарищ политрук?.. От первой германской до второй германской разика два тверёзый был. Теперь-то уж не помню, когда это было...» Блиндаж дрогнул от нашего хохота, а Кузьмич даже не улыбнулся, лишь глаза чуток посветлели и увлажнились.

Кузьмич-то и отвозил в санроту сказавшегося больным лейтенанта Виляева. На следующий день я справился у старшины:

– Ну, как довез, благополучно? Как он там?

– А што с ним могёт быть? – в свою очередь спросил «старик». – Довез, как положено. Сдал честь честью.

– Как он себя чувствовал по дороге?

– Постанывал немного. А так ничего...

– Как ты думаешь, Кузьмич, наш лейтенант вернется?

– Ну а как же?! – старшина с удивлением посмотрел на меня: как, мол, можно задавать такие вопросы?

– Ну хорошо. Молодец, что довез и сдал честь честью, – повторил я слова старого слугаки.

– Ох, виноват! Совсем было забыл, старый хрен. Лейтенант приказал передать вам, товарищ политрук, свой пистолет «ТТ». А свой револьвер, наган то есть, вы можете передать младшему лейтенанту Лобанову Михаилу. У него, говорит ротный, нету личного оружия. – После этой довольно длинной для него тирады Кузьмич порылся в своем вещевом мешке и вынул оттуда новенький, черный, отливающий вороновым крылом пистолет. Он был тщательно почищен и хорошо смазан; похоже, что только вот сейчас – и то чужими руками – был вытащен из кобуры, где ему уютно жилось последнее время, замешанное на поте и крови тех, кто оставался на передней линии боевых позиций.

Собираясь передать свой револьвер Дмитрию Зотову, но тот попросил отдать его Мише Лобанову, самому юному из командиров взвода, прибывшему в нашу роту прямо из училища (курсантов произвели в младшие лейтенанты досрочно). Мал ростом, круглолицый, с крохотными черными бусинками глаз, Миша выглядел четырнадцатилетним подростком, хотя ему отчаянно хотелось быть суровым мужем, строгим и бесстрашным командиром. И голосу своему, в особенности когда отдавал команды, он старался прибавить побольше начальнической густоты, но такое не всегда удавалось: мальчишеский, не до конца еще установившийся голос подводил, вырывался из повиновения и давал «петушка», к несчастью, там, где должен был

бы звучать особенно твердо, властно и повелительно. Я как-то и не подумал, что причинил бы этому юноше-командиру страшную боль, отдав револьвер не ему, а Зотову, равному и по званию, и по должности. Младший лейтенант Дмитрий Зотов понял это лучше и раньше меня. Теперь все мы радовались, видя, как весь аж просиял, засветился, покраснел до слез Миша Лобанов от привалившего ему нежданно-негаданно счастья. Казалось, что если чего-то ему и не хватало, чтобы стать настоящим командиром-фронтовиком, так это револьвера. Теперь он у него был. Позабыв о контроле над собой, позволяющем, как ему думалось, постоянно держаться на высоте своего положения, Миша кинулся на шею сперва Дмитрию Зотову, потом мне и расцеловал нас. Тут же перекинул ремешок с кобурой через плечо в немножечко смутился от того, что кобура свешивалась чуть ли не до самой земли: ремешок был длинноват для Мишиного росточка. С помощью какого-то умельца из своего взвода Лобанов быстро устранил этот «недочет» – через несколько минут кобура оказалась у бедра, то есть там, где ей и полагалось быть. Разлившаяся по круглому мальчишескому лицу счастливая улыбка держалась в тот день очень долго на лице, коему надлежало быть неукоснительно строгим всякую минуту.

И на другой день Мишины глаза наполнились слезами. Но это уже были не слезы радости и счастья, а большого горя, о котором могут знать лишь фронтовики, породнившиеся перед лицом ежеминутно подстерегавшей их смерти. Взвод младшего лейтенанта Лобанова передавался в одну из стрелковых рот: такую необходимость подсказала неумолимая логика действительной войны, а не той, которая рисуется на картах в тиши кабинетов далеко от места боевых действий. Дело в том, что взвод младшего лейтенанта Лобанова располагал лишь 50-миллиметровыми минометами и попал в полковую минометную роту, – не в батальонную даже, а именно в полковую – по какому-то недоразумению или недомыслию. Дальность полета мин-малюток была ничтожной. Ничтожной не только по сравнению со 120-ти, но и с 82-миллиметровыми минометами. Так что Мишиному взводу в нашей балке, рядом с другими взводами, делать было явно нечего. Усман Хальфин пытался подтянуть Лобанова с его игрушечными трубами поближе к переднему краю, на уровень своего НП, но это только создавало неразбериху, потому что нельзя было управлять огнем одновременно и тех минометов, что находились в балке, и тех, которые были хоть и где-то рядом с тобой, но требовали иных данных для ведения прицельного огня, а стало быть, и иных команд. Ясно, что один человек этого сделать не мог. 50-миллиметровые определенно мешали 82-миллиметровым, как бы путались у них в ногах, в особенности когда требовалось построить «параллельный веер» при стрельбе по площадям.

Включив лобановский взвод в полковую минометную роту, начальники, коим полагалось бы все как следует обмозговывать, почему-то забыли, что 50-миллиметровые минометы и называются ротными и никак уж не полковыми и даже не батальонными. Лишь находясь прямо в боевых порядках стрелковой роты, на переднем, значит, крае, они будут вести огонь не по своим пехотинцам, как случалось довольно часто, а по врагу. Так что Мише Лобанову ничего не оставалось, как покинуть обжитое гнездо в балке, которую мы уже считали своей, и увести взвод в стрелковую роту, зарывшуюся в землю до утра где-то впереди на левом фланге первого батальона.

Дмитрий Зотов и сержант Гужавин вызвались проводить отпочковавшийся от нас самый малый по численности взвод к новому месту расположения, то есть под адский огонь немцев.

Прибывший чуть позже Кузьмич соображал, как бы доставить туда причитающиеся взводу Лобанова продукты, а главное – водку и махорку: ведь старшина получал то и другое по строевой записке на всю роту в прежней ее численности.

– Што же мне теперича делать, товарищ политрук? – сокрушался Кузьмич. – Куда ж мне все это, а?.. Останутся робята без ужина, без курева и без этого... самого...

– Не тужи, старшина. Вот вернется Гужавин и проводит тебя к лобановцам. Отнесешь им все положенное. И «это самое» – тоже. Не расплескай только по дороге в темноте да не угоди к фрицам. То-то обрадуются!

– У них своего шнапсу хватает. Все наскрозь проспиртованы. От убитых и то несет сивухой, хоть нос затыкай. Потому и не гниют долго в самую что ни на есть жару.

– А ты откуда знаешь, Кузьмич?

– Ранитые наши пехотинцы рассказывали в санроте.

Зотов и Гужавин вернулись не скоро. Но Гужавин все-таки успел проводить Кузьмича по темному, при этом помог ему донести и тяжелый термос, и мешок со всем остальным: на повозке, какой бы «индивидуальной» она ни была, к переднему краю не подъедешь.

– А как там с Жамбуршиным? – спросил я, когда Кузьмич и Гужавин возвратились от Лобанова и когда старшина уже направлялся к своей повозке, чтобы поскорее убраться из нашей балки (старый воин знал, что бомбежка начнется, как всегда, ровно в пять часов утра: немцы любят точность).

– Что с Жамбуршиным? – повторил я свой вопрос.

– А Бог его знает, товарищ политрук! – отозвался Кузьмич, разбирая вожжи перед тем, как перекинуть свой тощий зад в повозку. – Его, кажись, в тот же день отправили в тыл, в госпиталь. Можя, там отойдет.

И это было последнее, что я мог услышать о самом юном бойце нашей роты. А его звонкий, как пастуший рожок, голос слышу нередко и теперь. «Выстрел! Выстрел!» – кричал этот мальчик еще там, в его родной казахстанской степи, бросая воображаемую мину в воображаемый ствол «миномета»: настоящие минометы и настоящие, заправдавшие мины нам выдали лишь за два дня до погрузки в эшелон, чтобы отправиться на фронт. Минометной трубой во время занятий служило обыкновенное хорошо обструганное полено; толстая доска, выпиленная по кругу, великолепно выполняла роль опорной плиты; две палки, соединенные сверху и расставленные внизу, обозначали двуногу-лафет; отыскились в роте умельцы и для более сложных и тонких изделий – эти смастерили подобия прицельных приспособлений: угломер-квадранты и прочее; было выточено с десятков мин, разумеется, деревянных, точно по калибру для 82-миллиметрового миномета. Вот эту-то грушевидную болванку и держал в своих озябших руках Жамбуршин, а над белым пространством, простертым в такую же ослепительно белую, продуваемую всеми ветрами бесконечность, звенел его старательный, заметно уже простуженный голос: «Выстрел! Выстрел!» – хотя никакого выстрела не было, он существовал опять-таки лишь в воображении тех, кому через каких-нибудь два-три месяца доведется увидеть и услышать выстрелы доподлинные и своих, и вражеских минометов. Там же, под Акмолинском, где рождалась наша 29-я стрелковая дивизия, на всю роту приходилась одна натуральная винтовка. Но поскольку минометчики должны были владеть не только своим штатным оружием, но и винтовкой, то стрельбу на занятиях они поочередно вели из этой одной, а в штыковую ходили, держа наперевес деревянную: каждый минометчик изготавливал ее для себя сам. Увялая в снегу, падая и подымаясь, они неуклюжими прыжками сближались с «противником» и, зверски выпучив глаза, вонзали в неподвижное чучело деревянный штык; расправившись таким образом с «неприятелем», бежали дальше, горлая, сколько хватало сил, «ура». А где-то недалеко позади Жамбуршин и другие заряжающие кричали:

«Выстрел! Выстрел!»

Жамбуршин?..

Он не выходил из моей головы. Все время думалось: где он теперь, не до конца оперившийся степной орленок? Вернулся ли к его глазам прежний, ничем не замутненный свет, или они все еще задернуты какою-то странной дымкой, так напугавшею нас и вдруг отделившею человека от окружающей его действительности, когда человек этот разом порывает со всем земным и обращается к Богу. «Аллах, Аллах» – уже не «выстрел» и даже не «мама», а имя Всевышнего срывалось с испеченных, потрескавшихся и кровоточащих, по-ребячьи припухлых губ мальчика, коему так хотелось выглядеть грозным воином. Слыша это непрерывно повторяемое «Аллах, Аллах», никто из нас не вспомнил в жуткую эту минуту, что три дня назад,

во время короткого отдыха в калмыцком местечке Зеты, Жамбуршина приняли в комсомол. А сейчас он сидел, сложивши ноги калачиком, по-восточному, и широко распахнутыми, неподвижными глазами смотрел в одну точку. Он сидел рядом с нами, но был уже далеко от нас. Куда же он ушел? Почему никого не хочет видеть? Может быть, Аллах в горчайший этот час оказался ближе всех к нему, как и полагается Создателю всего сущего на земле?

Уже в сумерках, после того как старшина увез Жамбуршина с огневых позиций, в полковую минометную роту пробрался старший политрук Саша Крупецков, помощник начальника политотдела дивизии по комсомольской работе (так, несколько длинновато, называлась его должность). Мы же все именовали его не иначе как комсомольский бог. И это очень нравилось Саше. Сейчас этот «бог» вовсе не походил на Бога: был явно подавленным. Вспомнив, что именно он вручил недавно билет Жамбуршину, мы рассказали Крупецкову о случившемся с этим бойцом. Саша в ответ только вздохнул тяжело и присел у свежего могильного холмика. Ни слова не говоря, он положил на колени свою кожаную полевую сумку. Чем-то туго набитая, она сейчас напоминала саратовскую гармонь с растопыренными мехами. Коротким жестом владелец сумки попросил меня присесть рядом. После этого вывалил прямо на пожухлую траву кучу комсомольских билетов. На каждом из них Саша своей рукой написал одно слово: «Убит». Немалая часть документов выдана самим же Крупецковым. Билеты были совсем новенькие, врученные им тут же, под Абганерово. Три из них оказались простреленные пулями или пробитые осколками мин и снарядов. Поскольку я хорошо знал, в каком кармане хранят такого рода документ, то подумал про себя: «У этого смерть наступила мгновенно – и то уже хорошо».

– Из одной лишь роты, – обронил наконец Саша. – Зебницкий передал...

В 12 часов 30 минут 23 августа в Сталинграде была объявлена воздушная тревога. А около часу дня Чуянову позвонил директор Сталинградского тракторного завода Константин Задорожный:

– Алексей Семенович, тебе известно о прорыве фронта? – взволнованно спросил он.

– Нет, не известно.

– Танки и пехота врага в полутора километрах от завода...

– Ты не ошибаешься?

– Нет, Алексей Семенович! Я из окна вижу фашистские танки. За Мечеткой.

– Не клади трубку.

По другому телефону первый секретарь обкома позвонил в Военный Совет фронта.

Потрясенный новостью, Хрущев воскликнул:

– Этого не может быть!..

– Как же не может быть, когда Задорожный сообщает мне сейчас – гитлеровцы вышли на Мечетку, в район тракторного. Он у меня на проводе...

– погоди. Проверю в штабе фронта... – Через минуту Хрущев подтвердил: – Да, фашисты танковым тараном прорвали наш фронт и сейчас выходят, как мне сообщили из оперативного отдела, в район тракторного, Латошинки и Ерзовки. Военный Совет принимает меры остановить врага. Вам надлежит принять свои меры...

Все стало предельно ясно.

Чуянов спросил у Задорожного:

– Сколько в данный момент завод может выставить танков на передовую и какое количество автоматов может передать в руки бойцов истребительного батальона и рабочих отрядов?

Задорожный без промедления ответил: 60 танков, которые могут выступить на передовую. Для вооружения истребительных батальонов можем выдать около 1200 автоматов.

– Тогда немедленно поднимите и вышлите против гитлеровцев истребительный батальон, части народного ополчения и танки, годные к боевым действиям. К вам придут на помощь моряки Волжской военной флотилии, истребительные батальоны Баррикадного, Краснооктябрьского районов и другие. Поддерживайте с ними связь.

Только Чуянов повесил трубку – позвонил командир корпуса противовоздушной обороны полковник Е. А. Райкин:

– Товарищ Чуянов, большая колонна танков, не менее ста, и мотопехота обходят город с северо-западной стороны.

Через час полковник Райкин дополнительно сообщил, что 30 вражеских танков на подступах к северо-западной части города были встречены вторым дивизионом 1077-го полка зенитной артиллерии ПВО. Дивизион вступил в бой. Левым берегом Мокрой Мечетки мотомеханизированные и танковые части врага прошли к тракторному заводу. Для борьбы с танками противника использована вся артиллерия, а также 11 батарей зенитчиков.

Из Управления Сталинградской железной дороги сообщили: между станцией Котлубань и разъездом Конный танки противника разбили эшелон с боеприпасами и продовольствием и стремительно продвигаются к городу.

Тяжелые бои идут за поселок Рынок.

Все работники обкома партии, распределенные по оперативным группам, разъехались по районам, многие из которых уже стали фронтовыми.

Чуянов остался в обкоме для оперативного руководства жизнью районов города и для связи со штабом фронта, который в этот день перемещался в «Царицынское подземелье» – тоннельные штольни, пробитые под высоким берегом Царицы московскими метростроевцами.

«Вскоре, – рассказывает Алексей Семенович Чуянов, – в моем кабинете стало мрачно. Воздух наполнился тягучим и вязким гудением, будто в уши заливалась кипящая смола. По стенам ползали бордового цвета блики. Стекла в окнах зазвенели... Стало жутковато. Я подошел к окну, распахнул его... Взглянул на небо. Взглянул и не поверил глазам своим. Неба не было. Оно куда-то исчезло, оставив рваные клочья своей голубизны лишь на кайме горизонта. Сморщенное солнце уменьшилось и, завернувшись в обрывки облаков, покатилося с полуденного зенита обратно к восточному горизонту...

Что же осталось над головой? Гудение и хлопки зенитных снарядов. Гудение нарастало. Оно обгоняло приближающиеся к городу армады бомбардировщиков... Черные кресты. Они надвигались на город с разных сторон...

Надо уходить в укрытие, в бомбоубежище, построенное недавно в Комсомольском садике, но я не могу стронуться с места».

Ну а для нас, вцепившихся в раскаленную окаменевшую землю Абганерова, двадцать третье августа был, пожалуй, самым тихим днем.

Поутру не наведались к нам «рама», «фоккеры» и «юнкеры», к которым мы, как это ни странно, тоже привыкли, не появлялись, не бомбили и не поливали нас огнем из своих крупнокалиберных пулеметов. На передовой сохранялось противостояние на прежней линии: ни та, ни другая стороны не поднимались ни в атаку, ни в контратаку: можно было подумать, что они заключили на этот день перемирие; изредка лишь артиллеристы лениво перебрасывались снарядами и то как бы для того лишь, чтобы предупредить противника: смотри, мол, мы находимся на месте, не вздумай подняться...

Между тем в небе – неумолчный гул немецких бомбардировщиков. Шли они, как на параде, когда хотят продемонстрировать свою мощь: за «Юнкерсами-87» шли «Юнкеры-88», и последними медленно напозлали самые тяжелые – «Хейнкели-111». Мы, конечно, догадывались, куда накатывались эти волны. Удерживая свои рубежи еще на дальних подступах Сталинграда, не позволяя себе отойти от них хотя бы на сотню метров, мы не знали, что левое крыло немецкой 6-й армии уже вышло к Волге у северных окраин города, что Сталинград уже корчится в кромешном аду от сброшенных на него десятков тысяч фугасных и зажигательных бомб, что и самого-то города, как такового, в общем уже нет: в несколько часов он обратился в жуткие руины, потонувшие в пламени, дыму и кирпичной пыли, поднявшейся до самых небес и закрывшей их вместе с вечным Ярилой, как при затянувшемся солнечном затмении.



Воспользовавшись неожиданно-негаданно обрушившимся на нас затишьем, я в небольшом окопчике, вырытом на гребне балки, пристроив тетрадный листок на планшете, писал письмо своей землячке; письмо было, как все мои письма с фронта, конечно же, бодрое, конечно же, победительно-воинственное. И не потому только, что даже в самый тяжкий час несокрушимо верил в конечную нашу победу, но еще и потому, что во всех нас, воюющих, к тому времени успел поселиться собственный, как бы мы теперь сказали, внутренний цензор, который был чрезвычайно бдительным: он очень хорошо знал, что можно писать с передовых рубежей войны, а чего нельзя: не приведи Бог, чтобы военная цензура выудила из твоего письма хотя бы самую ничтожную пораженческую нотку! А мне все-таки очень хотелось, чтобы подружка моя поняла, как же нам тут несладко. Размышляя об этом, я вдруг увидел кудрявенький белобрысый полынок, тихонько колеблемый легким ветерком, который беспечно прогуливался по степи, не боясь ни пучь, ни снарядов. Крохотный, едва заметный в серо-буrom разнотравье, стебелек этот тем не менее весьма ощутимо давал о себе знать, источая и распространяя вокруг острый, хорошо знакомый людям запах, легко отстраняющий и решительно подавляющий перед твоим носом все иные запахи, как бы сильны они ни были. Вот его-то я и сорвал, озаренный внезапно пришедшей в мою голову счастливой мыслью: вложу-ка горькую ветку в письмо, и умница-землячка все поймет как надо. Пальцы мои почему-то дрожали, когда я помещал полынную ветку в треугольный конверт, сделанный из листа той же тетрадки. Страшно довольный этой придумкой, поспешил отправить письмо с Кузьмичом, который к этому времени роздал еду и собирался в обратный путь, в тылы нашего полка. При этом замечу, что письмо мое будет получено только через двадцать лет. Почему так произошло, расскажу где-то поближе к концу своего повествования.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.